

Софья и Наталья Самуиловы

ОТЦОВСКИЙ КРЕСТ

Жизнь священника и его семьи
в воспоминаниях дочерей. 1908–1931



**Наталья Сергеевна Самуилова
Софья Сергеевна Самуилова**
**Отцовский крест. Жизнь священника и его
семьи в воспоминаниях дочерей. 1908–1931**
Серия «Духовная проза»

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7411156*

*Отцовский крест. Жизнь священника и его семьи в воспоминаниях дочерей. 1908–1931.: Никея;
Москва, 2014
ISBN 978-5-91761-279-9*

Аннотация

В воспоминаниях сестер Софьи и Натальи Самуиловых о дореволюционном детстве, о любимом отце – провинциальном священнике Сергии, впоследствии погибшем в заключении, звучит живой отголосок ушедшей эпохи. Судьба семьи Самуиловых неразрывно переплелась с трагической судьбой страны в XX веке. Переноса читателя в российскую глубинку 1910–1930-х годов, авторы раскрывают перед ним глубины человеческих сердец, в страшные годы гонений на Церковь не утративших веру, жертвенность и любовь.

Содержание

От издательства	5
От автора	6
Книга первая	8
1908–1914	8
Глава 1	8
Глава 2	11
Глава 3	14
Глава 4	15
Глава 5	19
Глава 6	21
Глава 7	25
Глава 8	30
Глава 9	36
Глава 10	37
Глава 11	40
Глава 12	42
Глава 13	48
Глава 14	51
Глава 15	55
Глава 16	60
Глава 17	63
Глава 18	69
Глава 19	70
Глава 20	76
1914–1920	83
Глава 21	83
Глава 22	88
Глава 23	93
Конец ознакомительного фрагмента.	100

**Самуиловы Софья Сергеевна
и Наталья Сергеевна
Отцовский крест. Жизнь
священника и его семьи в
воспоминаниях дочерей. 1908–1931**

*Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС
13-317-2340*

Дорогой читатель!

Выражаем Вам глубокую благодарность за то, что Вы приобрели легальную копию электронной книги издательства «Никея». Если же по каким-либо причинам у Вас оказалась пиратская копия книги, то убедительно просим Вас приобрести легальную. Как это сделать – узнайте на нашем сайте www.nikeabooks.ru

Если в электронной книге Вы заметили какие-либо неточности, нечитаемые шрифты и иные серьезные ошибки – пожалуйста, напишите нам на info@nikeabooks.ru

Спасибо!

От издательства

В удивительных воспоминаниях сестер Софьи и Натальи читателю раскрывается радостный и одновременно крестный путь их отца, Сергия Самуилова, провинциального батюшки, служение которого пришлось на первую треть XX столетия. Однако повествование, несомненно, гораздо шире биографии одного человека и даже истории одной семьи, ведь судьбы отца Сергия и его близких неразрывно переплелись с судьбой Русской Церкви, да и России в целом.

Непростой оказалась и история самой книги. Судя по некоторым авторским замечаниям, текст написан в 1950–1960-е годы, а предварительные записи велись и ранее. Об официальной публикации этого сочинения в Советском Союзе не могло быть и речи, и оно распространялось в самиздатовских копиях. Машинописный экземпляр первой части произведения в начале 1990-х передала петербургскому издательству «Сатисъ» Ольга Николаевна Вышеславцева, в тайном постриге – инокиня Мария. Вторая часть обнаружилась в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии, и в 1996 году издательство «Сатисъ» выпустило двухтомник «Отцовский крест». Позже была найдена и опубликована третья, незавершенная часть сочинения, посвященная судьбе отца Константина, брата Софьи и Натальи, который стал священником в разгар антирелигиозных гонений.

Предлагаемая читателю книга включает две первые части воспоминаний. Их объединяет одна тема – судьба отца Сергия Самуилова, искреннего и бескорыстного священнослужителя, оказавшегося в эпицентре разрушения вековых традиций. Причем это не сторонний взгляд, а свидетельство детей о любимом папе – детей, взросление которых выпало на один из самых драматических периодов нашей истории; более того, это взгляд дочерей, отношение которых к отцам, как известно, наполнено особой нежностью. Большим достоинством воспоминаний является вовлеченность сестер Самуиловых в активную церковную жизнь эпохи гонений, что делает книгу ценным источником по истории Русской Церкви. Насыщенный историческими подробностями текст при подготовке к изданию был обогащен обширными примечаниями. В то же время воспоминания эти являются памятником литературным, это проникновенная автобиографическая проза, замечательный пример русского подпольного литературного творчества середины XX века, поэтому мы без сомнения поместили «Отцовский крест» в серию «Духовная проза», где печатаются лучшие художественные произведения православных авторов.

Мы уверены – книга найдет отклик в сердце любого читателя, ведь нет, наверное, человека, безразличного к искреннему разговору о счастье, страдании, вере, самопожертвовании и любви.

От автора

...Необходимо сделать очень важное, на мой взгляд, предупреждение. Так как повествование ведется, насколько это для меня доступно, в литературной форме, то может возникнуть предположение, что ради яркости картин и образов я добавляю к действительно происходившему и свой вымысел. Поэтому считаю своей обязанностью еще раз подчеркнуть то, что уже говорилось в предисловии к «Повести о трех поколениях», а именно, что здесь нет ни одного случая, не происшедшего в действительности, ни одной фразы, не отвечающей действительно высказанным мыслям. По большей части я буквально записывала эти фразы так, как не раз слышала их сама (лично или в рассказах очевидцев); иногда передавала в разговорной форме то, что слышала в виде рассуждений, и только очень редко вставляла общие, малозначащие слова, которые человек, принимая во внимание обстановку и его характер, мог бы сказать.

К этому нужно добавить, что если в «Повести» я в основном пользовалась очень яркими и образными рассказами бабушки, то значительной части описанного в «Жизни священника» я была непосредственной свидетельницей, пусть иногда и в очень раннем возрасте; воспоминания дремали до тех пор, пока более взрослой я не осознала их значения. Другие факты много раз повторяли то отец, то мать, то бывшая моя нянька, то еще кто-нибудь... Отчасти я пользовалась даже дневником отца, к сожалению давно потерянным для нас.

При этом, прежде чем начать писать, я долго проверяла, мысленно уточняла и язык, и хронологию событий. Если в чем и допущена натяжка, это в объединении в одну главу нескольких мелких случаев. Например, запуск змея, беседа на тему «многим же еретикам и гонителем одоле церковь» и ночное появление «трех хулиганов», безусловно, происходили не в течение суток, так же как и два «искушения» – Сони и отца Сергия. Между этими событиями мог быть промежуток в два-три месяца, между некоторыми, может быть, год, но никак не два-три года. Например, если я не могла уточнить времени происшедшего урагана, так и отметила это, а в других случаях в тексте употребляла неопределенные выражения.

Так же и в разговорах. Здесь я еще меньше, чем раньше, пользовалась тем, что человек «мог бы сказать», – только в таких фразах, которые не имеют существенного значения для характеристики данного лица. Иногда могло быть, что подлинная фраза или подлинный способ выражения были действительно употреблены, но не в описываемом случае, а в другом подобном. Но чем серьезнее затрагиваемый вопрос, тем значительнее сами выражения, тем они точнее. В них уже не допускалось никакого отклонения: если слова указаны как подлинная речь, значит, они такими и являются в действительности и по мысли, и по способу изложения, разве только с незначительной заменой однозначных слов.

В этом случае, конечно, является сомнение: неужели можно запомнить точные фразы, сказанные тридцать, сорок, а то и больше лет назад? Но они повторялись в моем присутствии по разным случаям или не раз рассказывались отцом и другими очевидцами, и рассказывались всегда одинаково. А свою память я проверяла на цитатах, приводимых в главе «Если любите Меня» и в других. Особенно выразительна для меня цитата: «Аще кто без повеления местного епископа...» Я записала ее, не зная, откуда она, и только через несколько лет смогла проверить. Она оказалась правильной. Судя по этому, можно верить, что правильно приводятся и другие слова. Все я старалась записать так, как вижу перед собой до сих пор, вплоть до движения руки, сматывающей веревку от змея.

А глава «Съезд», конечно, не является стенографической записью происходившего, но приближается к тому, как и последующие, где уже нет и группировки событий; они следовали одно за другим с такой быстротой, что впору их разделять, а не уплотнять.

Сознаюсь, были иногда соблазны, хотелось иногда вставить слова, которые были в духе описываемых людей и даже, весьма возможно, что были и сказаны. Но сказаны ли в действительности, на это нет ни намека в моих воспоминаниях. Поэтому, хоть и с сожалением, их приходилось отбрасывать, потому что написанное мною не более как воспоминания, а не повесть, хотя бы и биографическая.

Одним словом, ко всему написанному следует относиться с таким же доверием, как и к запискам любого свидетеля любых исторических событий, хотя рассказ ведется не в первом, а в третьем лице. То есть тут могут быть незначительные, в мелочах, ошибки памяти, неясные формулировки (где я говорю от своего лица), но ни слова вымысла.

Софья Самуилова

Книга первая Острая Лука 1908–1926

1908–1914

Глава 1 Как умирают

Десятого марта 1908 года светлая зала С-вых была совсем не такой, как обычно. Надино пианино вынесено, зеркала и картины завешены белым полотном, тюлевые шторы на окнах спущены. В переднем углу целая роща банок с цветами. Яркий солнечный свет, льющийся в окна, смешивается с желтоватыми огоньками свечей и освещает резные листья небольших пальм и олеандров, бросающих прихотливые тени на спокойное бледное лицо с закрытыми глазами, на окаймляющую это лицо белую длинную бороду и на восковые, скрещенные на груди руки. Руки сложены, как складывают подходя к причастию, и к ним прислонена маленькая иконочка. Все остальное скрывается под массой белых цветов; кое-где проглядывают очертания серебристого гроба, но и его края покрывает широкая лента большого венка, последнего дара учеников и товарищей.

В комнате все время народ, люди приходят и уходят, но это не нарушает торжественной тишины: все двигается бесшумно, говорят вполголоса, не слышно даже тиканья больших часов, их маятник остановлен; в этой комнате уже не существует времени, здесь вступает в свои права вечность.

Благоговейный покой, окружающий умершего, оскорбили бы громкие голоса и резкие, истерические крики; горячие слезы здесь льются неслышно, только время от времени прорвутся чьи-нибудь сдавленные рыдания. Искренно плачут все: брат, дети и племянницы, теща и невестки, которые в других семьях чаще всего остаются равнодушными к смерти свекра или даже про себя радуются ей; плачут бывшие ученики и сослуживцы, близкие знакомые и соседи.

Время от времени в солнечных лучах начинает струиться синеватый кадильный дым, раздается негромкое пение: «Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой!» Тогда рыдания становятся громче, но умиротвореннее.

К гробу съехались все дети, кроме младшего сына Филарета. Он в Томске, в университете, ему даже не телеграфировали: все равно он не успел бы к похоронам.

Ему предстояло в одиночку переживать свое горе, перечитывая письма с описанием смерти и похорон отца и записи горячих речей, произнесенных над гробом.

Старший сын Сергей с женой и дочкой Соней полсуток тащился на лошадях по тяжелой мартовской дороге до железнодорожной станции. Для быстроты он нанял пару лошадей, но и им было тяжело. После февральских снегопадов дорога разбита, полна ухабов и раскатов, среди дня снег подтаивает и цепляется за полозья, на сельских улицах дороги черны от навоза. Если бы не смерть дорогого человека, разве поехала бы Евгения Викторовна в такую пору? Два года тому назад, когда она ехала в Острую Луку шестого марта, при переезде через налившийся водой долок лед под санями провалился, и тогда она думала, что никогда в жизни не повторит такого путешествия. А вот сейчас девятое, а она едет, да еще назад поедет.

Правда, в этом году весна поздняя, а обратно можно поехать, дождавшись колесного пути, да в том ли дело? Просто невозможно было не ехать, сердце не вытерпело бы.

Было туманно. Временами начинал падать крупный снег. Соня то внимательно смотрела на мелькающие снежинки, то сладко засыпала в теплой щели между отцом и матерью. А те сидели и думали, что наступает весна, но папа на Пасху к ним не приедет и никогда больше они не увидят его ласковых голубых глаз и не услышат его доброго баска.

Второму сыну, Евгению, ехать гораздо ближе, и он успел еще застать отца в живых. Приехала из Казани и младшая дочь Сима. Старшая – Надя и теща Наталья Александровна встречают гостей. У всех, у приехавших и встречающих, глаза опухли от слез. Еще мужчины пытаются крепиться, а женщины плачут без конца.

Приходит теща Сергея Юлия Гурьевна с Мишей и Володей. Они здесь свои люди, бывают чуть не каждый день и еще вчера досыта наплакались. Юлия Гурьевна печально рассказывает, как покойник Евгений Егорович еще недавно вспоминал ее мать, умершую год назад, как он, уже больной, ласково шутил.

– Мишель пришь? – спрашивал он, здороваясь с ней. – Почему Мишель не пришь?

Лучше всех чувствуют себя Соня и Сима, дочка Евгения Евгеньевича. Возобновив прошлогоднее знакомство, они весело играют в самой отдаленной от залы комнате. Что им до больших, до того дедушки, который лежит в зале? Соня помнила совсем не такого. Она помнила, как когда-то давно-давно (полгода назад, пятая часть Сониной жизни) тот дедушка, слегка сгорбившись, вошел в столовую с террасы и дал ей поиграть блестящий карандаш. Только поиграть, ей так хотелось, чтобы он подарил его совсем, но дедушка не догадался. Вот если бы тот дедушка пришел теперь, она подбежала бы к нему и спросила, где карандаш. А этот, в зале, ее мало интересовал.

Сима была на одиннадцать месяцев моложе Сони, но дедушку помнила лучше: ведь она видела его еще вчера.

Вчера дедушка тихонько шел по комнате, папа и тетя Надя шли с ним рядом и для чего-то поддерживали его, а Симочка стояла среди комнаты и смотрела. Дедушка нагнулся и погладил ее по головке, потом его усадили на кушетку, потом осторожно уложили. Вдруг все почему-то заплакали, и Сима тоже заплакала, и мама увела ее и сказала, что дедушка заснул. Ну и пусть спит, о чем же тут плакать?

К вечеру, когда окончились занятия в семинарии, зала наполнилась людьми. Преподаватели, сослуживцы Евгения Егоровича, постояв у гроба, отходили в сторону и тихо разговаривали с детьми покойного, стараясь, чтобы их слова не долетели до толпившихся в комнате семинаристов. Но тем и не нужно было слушать. По мимике догадывались они, о чем шла речь, и, может быть, чаще, чем в действительности, им чудилось имя «Неофит». Все знали, что ректор Неофит с самого приезда невзлюбил секретаря училищного совета Евгения Егоровича, что у них часто выходили стычки, тяжело отражавшиеся на здоровье последнего. Знали и то, что произошло на заседании училищного совета чуть не накануне рождественских каникул. Там обсуждали проступок одного ученика. Ректор предлагал исключить его, а Евгений Егорович с горячностью, удивительно уживавшейся с обычной его мягкостью, воспротивился: мальчик не неисправимый, нельзя из-за одного случая губить ему всю жизнь. Рассерженный отпором, ректор довольно прозрачно намекнул, что секретарь защищает виновного, потому что получил взятку. Евгений Егорович до того разволновался, что не мог сразу ответить, как бы хотел, и так и уехал на каникулы к брату, не поговорив как следует с ректором. Зато в первый же день занятий, встретив его в учительской, заговорил о позорном обвинении. Неофит, не дослушав, махнул рукой и сказал: «Э, хочется вам о пустяках говорить!» «Пустяки? – вскипел Евгений Егорович. – Из-за этих пустяков я все каникулы места себе не находил, сердце вконец расшатал!» И он наговорил начальству много резких и горьких слов. Ректор начал мстить постоянными булавочными уколами. Здоровье

Евгения Егоровича становилось все хуже, сердечные припадки все чаще, наконец он слег и не поднялся.

Семинаристам кажется, что они слышат все. Вот Василий Николаевич Малиновский, экспансивный хохол, учивший еще Евгения Егоровича, достает из бумажника смятый, а потом тщательно разглаженный листок и передает его собеседникам. Те внимательно рассматривают и снова прячут. И опять семинаристы знают, что это; таких листков ходит по рукам уже много и кроме того, который отобрал на уроке Василий Николаевич. Это карикатура на Неофита. Он изображен на коленях, с четками, замаливающим свой грех, и внизу подпись: «Я ускорил Евгения кончину!»

Отпевали покойного в семинарской церкви.

От церкви до кладбища далеко. Если мысленно расчленишь на кварталы пустырь между городом и кладбищем, то всего получится не менее двенадцати кварталов. И всю дорогу семинаристы несли гроб на руках, катафалк только ради торжественности двигался сзади. Когда проходили мимо архиерейского дома, епископ Константин вышел к воротам и благословил процессию. Не доходя до кладбищенской церкви, на северо-запад от нее, у Евгения Егоровича давно припасено место; там похоронены его жена и мать, и там же, много лет спустя, легли и сын Евгений и внучка Сима. Гроб опустили в землю, взволнованные молодые голоса запели: «Со духи праведных скончавшихся». Один за другим начали выступать ораторы – преподаватели и семинаристы. Если бы кто-нибудь из тех, кто считает духовное красноречие сухим и безжизненным, послушал эти речи, произнесенные над гробом преподавателя литургики и гомилетики¹ его учениками, будущими священниками! Блестели влажные от слез глаза, звенели молодые голоса, звенело в них живое, напряженное чувство – скорбь, уважение, негодование... искренние чувства молодых людей, глубоко чтущих справедливость и ее защитника, каким, прежде всего, рисовался им покойный. Наконец кончились речи. Гроб засыпали, поставили крест, повесили венки. Последний раз прозвучала: «Вечная память!» Да, память об этом кротком и как будто незаметном человеке держалась долго. Двадцать – тридцать лет спустя после его смерти, стоило бывшему семинаристу, войдя в комнату, где он был первый раз в жизни, увидеть портрет отца ее хозяина, как светлели глаза вошедшего, теплело на сердце и лились тихие, прочувствованные слова воспоминаний; стоило сказать одному из этих людей: «Евгений Егорович был моим дедом» – и раскрывалась душа, и, как с близким человеком, начинался разговор о тайных заботах, скрывааемых иногда от родных. Нельзя и подумать, чтобы внуки Евгения Егоровича обманули доверие. Да что двадцать, тридцать, так было и через пятьдесят лет! В это время знавших Евгения Егоровича оставались считанные единицы, но, когда им напоминали его имя, прояснялись старческие глаза и дрожащий голос повторял: «Да, Евгений Егорович... таких людей на свете не встретишь!»

И говорившие готовы были как родных любить незнакомых женщин только за то, что они дочери Сережи и внучки Евгения Егоровича. Это ли не вечная память! Если люди всю жизнь сохранили о нем добрую память, то сохранит ее и Господь.

Медленно, неохотно расходились люди с кладбища; наконец ушли последние. Пушистый снежок мягко ложился на новую могилу, скрывая под ровной пеленой мерзлые комья земли. Ложился он и на венки, но легкий ветерок, точно протестуя, тихонько качнул широкие белые ленты, чуть слышно зазвенел фарфоровыми лепестками цветов, и снова переливчато вспыхнул серебристо-белый муар, и на нем отчетливо и твердо, характеризуя жизнь и упования умершего, выделились слова:

¹ Гомилетика – наука о том, как говорить проповеди. – *Авт.*

«ПОДВИГОМ ДОБРЫМ ПОДВИЗАХСЯ, ТЕЧЕНИЕ СКОНЧАХ, ВЕРУ СОБЛЮДОХ» (1 Тим. 4: 7). – «И АЗ ВОСКРЕШУ ЕГО В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (Ин. 6: 40).

Глава 2

Сынок да дочка – красные детки

1908–1909 гг.

Отец Сергей сидел в зале у старенького отцовского письменного стола, недавно только перевезенного из Самары, и думал. На столе перед ним лежала толстая тетрадь, сшитая из плотной графленой бумаги. На обложке тетради красовался рисунок пером – чья-то борода-тая голова со включенными волосами – и стояла тщательно выведенная надпись: «Записки сумасшедшего». В окна стучал частый, мелкий дождь; иногда стук прекращался, и тогда к стеклам прилипали крупные, моментально тающие хлопья снега. Тяжелые тучи, точно нависшие над разбухшей от дождей землей, беспомощно качающиеся ветки деревьев, на которых еще бились неопавшие листья, навевали тоску. Осень в этом году наступила рано, – только вчера был Покров, а дожди идут уже давно, дороги кругом стали почти непроходимыми, даже пароходы по Волге ходят неаккуратно. Отец Сергей хорошо знает это, он позавчера вернулся с епархиального съезда из Самары. Пароход, на котором они ехали, больше полусуток простоял на мели, и потом чуть не целый короткий осенний день они тащились со случайными попутчиками от пристани до дома; промокли, иззябли, кое-где брели пешком, потому что лошади, выбившись из сил, останавливались. Вот об этом-то съезде, с которого он только что вернулся, о его бурных прениях, о горячих спорах в кулуарах, обо всех так живо его интересовавших епархиальных делах, о которых он только бегло успел рассказать жене, молодой депутат и хотел поделиться с заветной тетрадью, называвшейся «Записки сумасшедшего». Но сей час в голове теснились новые мысли, новые волнения отодвинули на задний план происходившее на съезде, и они первыми попали в тетрадь.

«Еничка встретила меня обеспокоенная, – писал он своим четким овальным почерком. – Акушерка сказала ей, что у нее ненормальное положение плода, может потребоваться серьезное медицинское вмешательство и нужно ехать в Самару. А куда тут поедешь в такую погоду в ее положении!

Вдобавок и я не могу ее сопровождать, потому что на днях приедут Александров и Пряхин, будут беседовать со старообрядцами; и с ними можно бы как-нибудь сговориться, отложить, но старообрядцы вызвали московского начетчика Варакина, и мой отъезд будет истолкован как бегство. Значит, уехать невозможно, а как отпустить ее одну? И как быть с Сонюшкой?»

Отцу Сергию припомнилась картина, которую он наблюдал вчера. Евгения Викторовна сидела на своем обычном месте, у стола в столовой, и шила миниатюрное бельецо. От Сони осталось много детского приданого, но кое-что нужно подновить и добавить; нарядный крестильный чепчик непременно должен быть новым, как и рубашечка. Рубашечку, купленную бабушкой, отец Сергей привез из Самары, но на ней были голубые банты, а кто знает, может быть, родится не мальчик, а девочка, и тогда банты должны быть розовыми. И молодая женщина, сделав к кружевному чепчику голубенькие бантики, готовит, на всякий случай, полный комплект розовых.

Трехлетняя Соня стояла на коленях на стуле около матери и внимательно рассматривала привезенную отцом книжку. Всю страницу занимала большая красочная картинка: еж несет на иглах яблоки. Вверху картинке надпись – несколько слов, немного больше полстроки, – целая бездна премудрости. Соня, напрягая короткую детскую память, храбро

борется с путающимися буквами и, хоть с трудом, но побеждает одно слово за другим. Евгения Викторовна, оторвавшись от своей работы, помогает ей. В ее взгляде, брошенном на мужа, ласка и любовь к обоим, к отцу и дочери, и та же тревожная мысль: «Как быть с Сонюшкой? На кого оставить ее теперь и не останется ли она через несколько времени без матери навсегда?»

Отец Сергей не записывал, что было переговорено с женой за эти тяжелые двое суток, не описывал горячих молитвенных вздохов перед иконой Покрова Божией Матери, тяжелых ночных дум, предшествовавших решению. Он только написал: «Решили положиться на волю Божию».

Развязка наступила неожиданно быстро. На следующий вечер у молодых супругов уже был сын. Акушерка, за которой посылали в село за двенадцать верст, не ус пела – помогала опытная старушка, бабушка Авдотья. Выйдя из комнаты больной, она сказала озабоченно: «Сыночка Бог дал, батюшка, только больно плохенький – не знай, до утра доживет, не знай нет. Надо бы сейчас окрестить».

Окрестить было недолго. Псаломщик, Алексей Алексеевич, жил рядом, ему пришлось быть кумом, кухарка Ариша заменила куму. Когда Соню, безмятежно игравшую в кухне с дочкой сторожа, позвали в комнату и показали ей маленький живой сверточек, лежащий в ногах поперек маминой кровати, это был уже не безымянный мальчик, как бывает обыкновенно. Это был маленький братец Костя.

Для Сони начались веселые дни. Никогда еще за всю свою короткую жизнь она не видела сразу столько нового и любопытного. Приходили женщины, приносили подарки «на зубок». По большей части это были какие-нибудь деревенские лакомства, и первый кусочек, конечно, доставался Соне. Потом бабушка Авдотья показывала гостям Костю, и Соня находила, что он гораздо интереснее всех ее кукол, среди которых, кстати, не было ни одной совершенно целой. Особенно она любила смотреть, как его перевертывают и он слабо шевелит крошечными ручками и ножками. Завернув мальчика в чистые пеленки, бабушка Авдотья передавала его маме покормить. Костя начинал сосать вяло, неохотно, часто останавливаясь отдыхать, а мама, не отрываясь, смотрела на его личико, причем на губах ее появлялась ласковая улыбка, но глаза были по-прежнему строги и печальны.

Среди дня Ариша убирала все лишнее с покрытого белой салфеткой стула, стоявшего у изголовья больной, и приносила обед. Соня добилась разрешения обедать тут же, сидя у стула на маленькой ножной скамеечке, и это последнее удовольствие окончательно примирило ее с маминой болезнью.

Интересно было разговаривать с акушеркой, прожившей у них несколько дней. Это от нее первой Соня услышала слова, которые потом приходилось слышать довольно часто: «Сынок да дочка – красные детки». При этом папа вздохнул и ответил: «Не осталась бы опять одна дочка».

Акушерка уехала, а на ее месте появился врач, небольшой, плотный, в очках с широкой золотой темной оправой, совсем не таких, как у папы. Соня так занялась им, что совершенно не заметила миссионеров, приехавших через несколько дней. (Лет двадцать спустя один из них, отец Димитрий Александров, ставший к этому времени митрополитом Саратовским, говорил о Косте: «Мы с ним познакомились через две недели после его рождения».)

Папа делил внимание между ними и врачом, хотя сам же настойчиво говорил маме: «Не заботься о них, не беспокойся, слушайся того, что говорит доктор, а мы сами как-нибудь управимся». Но мама все-таки беспокоилась. Она говорила, что без нее Ариша все перепутает, не сумеет ни приготовить, ни подать, и то и дело призывала ее, чтобы уточнить, как делать заливное из рыбы, как тонко раскатывать тесто для пельменей, как расставлять приборы на столе и еще по многим вопросам, волновавшим ее сердце хозяйки. Вот сладкое Ариша так и не могла одна сделать, не только сбить крем, но даже заморозить мороженое;

хорошо еще, что успели замариновать вишню и виноград и намочить яблоки по старинному рецепту Юлии Гурьевны, а то было бы совсем неловко перед посторонними. Правда, ближайšie священники, приезжавшие послушать беседы, зная, что матушка больна, не оставались ужинать и прямо после беседы уезжали домой, но самарские гости жили здесь, и не хотелось перед ними ударить лицом в грязь.

С первых дней жизни Костя проявил с-овское упрямство, как любила говорить Надя, сестра отца Сергея, официально считавшаяся крестной мальчика. Вопреки всем тревогам и предсказаниям, он остался жить, хотя только его родители знали, чего им стоило отбить его у смерти. Евгения Викторовна после болезни потеряла молоко, и ребенка с первого же месяца начали подкармливать, а потом и совсем перевели на искусственное питание, что, конечно, вредно отозвалось на состоянии и без того слабенького ребенка. Его здоровье то немного улучшалось, то опять ухудшалось, и летом родители решили, что его непременно нужно повезти к самарским докторам. Отец Сергей проводил жену с детьми и оставил ее жить в Самаре до тех пор, пока Костя или достаточно не оправится, или умрет. Иногда последнее казалось более вероятным.

1909 г.

Маленьких детей принято хоронить в том, что надевалось на них после крещения. Для худенького тельца Кости длинная крестильная рубашечка была еще впору, головка его, как у всех рахитичных детей, выросла больше нормальной.

Евгения Викторовна, сидя в уютной комнатке, где прошло ее девичество, глотая слезы, опять шила ему чепчик, для похорон, хотя его давно уже держали с открытой головкой.

Занятая горькими мыслями, молодая женщина не слышала звонка, не слышала разговоров в коридоре и очнулась только тогда, когда отворилась дверь в ее комнату.

– Еничка, телеграмма из Острой Луки, – встревоженно сказала Юлия Гурьевна.

В мирном, неторопливом течении тогдашней жизни телеграмма была редким явлением; она всегда говорила о чрезвычайном событии, почти всегда неприятном. Последняя телеграмма, которую больше года тому назад держала в руках Еничка, извещала о смерти Евгения Егоровича. Неудивительно, что у нее дрожали руки, пока она срывала облатку.

«Как Костя? Если плохо, вызывайте, приеду. Сергей». Сверху значилось: «Ответ оплачен, 15 слов». Но отец Сергей не дождался этого ответа, который в селе, далеко отстоящем от телеграфа, мог быть получен не раньше как на третьи сутки. На следующий день он явился сам. Приехавший в Острую Луку погостить к родным священник согласился на некоторое время заменить его, а потом начался осенний съезд, давший возможность прожить в Самаре до тех пор, пока опасность миновала.

Лето, проведенное в Самаре, не прошло для Евгении Викторовны бесполезно. Пользуясь тем временем, когда Косте было лучше и его можно было оставлять с нянькой под верховным надзором бабушки, она окончила школу рукоделия и вернулась домой с дипломом сапожника, с полным набором сапожных инструментов и в туфлях собственной работы. «Семья увеличивается, – рассуждала она, – детям то и дело придется покупать обувь, так лучше чинить и шить ее самим».

Действительно, с этого времени обувь шилась дома. Отец Сергей присмотрелся к работе жены и отобрал у нее часть, требующую большей силы и умения обращаться с молотком и гвоздями: натягивание на колодку и подбивку подошв, предоставив ей шить заготовки. Ботиночки получались несколько грубее магазинных, но лучше, чем могли сделать деревенские сапожники, и, главное, прочные. И все-таки ни одна пара не дождалась того времени, когда их обладатель вырастет из них. «Обувь у них горит, как на огне, словно они не по земле ходят, а по раскаленной плите, – повторяла Евгения Викторовна общую жалобу

всех матерей, – особенно у Миши, он изнашивает вдвое больше ботинок, чем Костя». (Это было уже тогда, когда, к некоторой Сониной досаде, про них перестали говорить: «Красные детки». Впрочем, она утешалась рассуждением, что теперь у них будет два мальчика и одна девочка и, следовательно, мама будет ее любить больше.) Особенно мучили носочки обуви. Евгения Викторовна делала на них фасонные, словно для украшения, накладки, меняя их по мере того, как они снашивались, но, стоило только немного недоглядеть, как носочки опять белели и в дырки проглядывали заштопанные чулки. Евгении Викторовне много приходилось воевать с подраставшей Соней, чтобы заставить ее держать в порядке чулки и вечно продырявливавшиеся локти. Зато ботинки Соня чинила с удовольствием – все равно, нужно ли было поставить заплатку сбоку ботинка, накладку на носок, подбить подметки или заменить стоптанный до основания каблук. «Ее заплатки за квартал видно», – полусмеясь, полужакаясь, говорила Евгения Викторовна мужу, но не мешала дочери: пусть приучается, в жизни все пригодится.

Глава 3

Костя капризничает

1909 г.

Костя капризничал. За время болезни он привык, чтобы, укладывая его спать, с ним ходили по комнате, и, поправившись, требовал того же тем настойчивее, чем больше силы появлялось в его легких. Мало того, он становился все требовательнее, ночью он спал только на ходу, стоило положить его в постельку, как он просыпался и снова поднимал крик. Сколько раз Еничка пыталась не обращать на него внимания, но безуспешно. Крик становился все громче, она наконец не выдерживала характера и поднималась.

– Так нельзя, – говорил отец Сергей жене, когда она выходила к чаю осунувшаяся, с красными глазами и вяло, без аппетита жевала завтрак. – Ты изведешься, днем тебе ни за что не дадут отдохнуть как следует. И носить его подолгу тебе теперь нельзя, он уже тяжелый. Да и вообще, нельзя давать ребенку с этих пор брать верх над собой. Если он поймет силу своего крика, с ним вообще сладу не будет.

– Он еще маленький, не понимает, – возражала Евгения Викторовна.

– Не беспокойся, это-то они быстро начинают понимать. Дай я повоюю с ним несколько ночей. Не бойся, справлюсь. Ведь справлялся же я с Соней, когда ее отнимали от груди. У нее тогда были более серьезные причины для слез, и все-таки поплакала и перестала, привыкла. А то появится еще малыш, что ты будешь делать с двоими, если вовремя не призвать этого героя к порядку?

Последнее соображение было, кажется, самым веским. Вечером Костину кроватку придвинули к отцовской. «Герой», плотно накормленный и не подозревавший о состоявшемся заговоре, поспал немного с вечера, потом завопил и закричал. Отец Сергей осторожно освидетельствовал пеленки, проверил мимоходом, правильно ли лежит на подушке головка ребенка и не сбилося ли одеяльце, и опять убрал руку. Костя заплакал громче – никакого результата. Он пустил еще один длинный вопль, на минуту приостановился, чтобы набрать воздуха и прислушаться, – ничего. Тогда пронзительные вопли последовали один за другим почти непрерывно, все усиливаясь, – до того, что от них в ушах звенело и дребезжало. Некогда было больше останавливаться и прислушиваться. Костя только торопливо, захлебываясь, глотал воздух и снова кричал, закрыв глаза, напрягаясь всем тельцем. Конечно, он не мог слышать легких шагов подошедшей матери и тихого голоса отца, говорившего: «Иди, Еничка, ляг и не волнуйся, с ним ничего не случится, устанет кричать и

уснет. Жалко? И мне жалко, но, если сейчас поддаться, следующий раз придется начинать все сначала, и он будет кричать еще дольше и отчаяннее, чем сегодня».

Костя бушевал с перерывами чуть не всю ночь. Он то засыпал, то опять просыпался и поднимал громкий плач, хотя уже не такой, как вначале. Только под утро он заснул по-настоящему и проспал гораздо дольше, чем обыкновенно. На следующую ночь концерт повторился, но был уже значительно короче. На третью ночь мальчик снова было заплакал и вдруг, как будто что-то вспомнив, замолчал. Не раз он потребовал было поставить на своем, когда, через несколько дней, его кровать снова перекочевала к кровати матери, однако и эта попытка оказалась безуспешной, и он покорился.

Глава 4 Змей

1910 г.

Был чудный весенний день. Ясное солнце ласковым светом манило к себе все живое: завалинки домов и старые пни на солнечной стороне, словно большими пятнами крови, были покрыты массой красных козявок – «казаков», – на улицах стон стоял от ребячьего крика, а в хо лодке у домов сидели на травке женщины, вязали чулки, сучили шерсть и судачили, наслаждаясь краткой передышкой в тяжелых весенних работах. Синее-синее небо с белыми барашками облаков безмятежно раскинулось над изумрудной муравой площади, еще не испорченной размятым навозом и свежесделанными кизьяками², которые скоро займут добрую четверть ее. Вдоль плетня, примыкавшего к церковной ограде сада, лежали кучи бревен, а около них стояли рядом сразу двое козел. Мужики попарно, один внизу, другой наверху, на лежащем на козлах бревне, неторопливыми, размеренными движениями дергали то вверх, то вниз большую пилу, и она со своеобразным шорохом вгрызалась в дерево. Этот шорох и легкий смолистый аромат только что распиленного дерева, казалось, еще подчеркивали царящую кругом дремотную тишину.

И все-таки и наверху, и внизу было беспокойно. Целая толпа детворы, от маленьких подружек Сони до тринадцати-четырнадцатилетних старших школьников, окружали батюшку, стоявшего посреди площади.

И все они стояли, подняв головы, и смотрели вверх, где в яркой синеве неба трепетало и кувыркалось что-то белое и откуда доносился ровный шум, напоминающий шелканье трещоток, которыми гоняют птиц в садах. Туда же смотрели, оторвавшись от работы, женщины, и даже стоящие на бревнах мужики тоже на некоторое время приостановились, наблюдая за небом.

Вышла ко двору погреться на солнышко баушка Параня, самая древняя из всех остро-лукских старух. Нет, впрочем, не самая древняя: ее сестра, баушка Шима, была еще старше, обе они остались в селе как живые образцы далекого прошлого. Даже имена их были необычны: их звали так, как они сами называли друг друга и как не звали никого больше в селе. Обыкновенно старух уважительно называли полным именем: баушка Анна, баушка Матрена, баушка Соломонида, и только к очень близким допускалось обращаться с сокращением имени; баушка Маша, баушка Лиза, да и сокращения были самые употребительные – так же звали и молодых женщин и девушек. А родную внучку баушки Шимы, окрещенную в ее честь Евфимией, называли все-таки Фимой, а не Шимой, и все Прасковии в селе

² Кизьяки – высушенный навоз.

именовались Пашами. Была, правда, одна «странная» (нездешняя) старуха не из древних, называвшаяся Проса-баба, что звучало как прозвище, и, кто его знает, может быть, даже обидное. Но ни Шимы, ни Парани больше не было ни в Острой Луке, ни в соседних селах. Недаром молодежь, с каким-то особенным чувством, как к разговору выходцев из другого мира, прислушивалась к коротким словам, которыми обменивались сестры, встретившись в воскресенье около церкви:

– Это ты, Паранька?

– Я, я, Шимарка!

– Ну, как живешь?

– Ничего, живу, Шимарка!

– Ну, иди, иди, Паранька!

Была у баушки Парани почти детская слабость: любила старуха сладенькое.

Когда матушке случалось принести в церковь кутью, украшенную разноцветными леденцами, баушка Параня чуть не все их собирала в рот да в платочек, приговаривая: «Это внучку». Матушка уже знала это и брала с собой запас леденцов, чтобы всем поминальщикам хватило.

Вот эта-то баушка Параня заинтересовалась толпой среди площади. Добрела потихоньку, опираясь на палочку, посмотрела вверх, на батюшку, опять вверх – и сказала:

– А ведь это, батюшка, не иначе как оказия³.

– Оказия, баушка, оказия! – весело откликнулся батюшка. – А вот мы ей сейчас письмо пошлем. Он надорвал посредине услужливо поданный кем-то из ребят клочок газеты, надел его на бечевку, и подхваченная ветром бумажка взлетела по бечевке вверх, к самому змею, который, гудя трещоткой и помахивая длинным мочальным хвостом с кисточкой из разноцветных тряпок, парил в высоте.

– Козырнул, козырнул, получил письмо, кланяется, – кричали старшие дети, когда змей, подхваченный порывом ветра, резко метнулся было вниз и опять выровнялся, направляемый умелой рукой, дергавшей веревку. Малыши смотрели на батюшку так, что, предложи он сейчас привязать к веревке и послать наверх любого из них, они не усомнились бы, что он сможет это сделать.

Из дома вышла Евгения Викторовна и подошла к мужу.

– Сережа, неудобно, люди смотрят, – тихо сказала она.

– Ну и пусть смотрят, ничего тут нет неудобного, – отозвался отец Сергей, отбрасывая назад длинные светло-русые волосы.

* * *

Несмотря на то, что Еничка до одиннадцати лет жила в селе, а отец Сергей и родился в городе, у нее было больше городских привычек, чем у него. Может быть, это объяснялось тем, что она с переселения в Самару до назначения учительницей в Васильевку почти не выезжала из города, тогда как Сережа, с тех пор как начал себя помнить, каждое лето проводил в селе, сначала у бабушки Наталья Александровны, а потом у дяди Серапиона Егоровича. Дети обоих братьев, Евгения Егоровича и Серапиона Егоровича, были почти ровесниками, и, как только старшие из них достигли десятилетнего возраста, в семьях установился удобный для всех порядок: зимой учащиеся дети Серапиона Егоровича жили в Самаре у Евгения Егоровича, а в летние каникулы, даже, при возможности, на Рождество и Пасху, вся орава отправлялась в Яблонку к отцу Серапиону.

³ «Оказия» на местном наречии означает необыкновенное явление, граничащее с чудесным. – *Авт.*

После того как отец Серапион овдовел, а Сережа женился, вся молодежь, а иногда и старики, летом стали ездить к нему. Но состав гостей с каждым годом менялся. С самого начала к ним присоединились К-вы, Юлия Гурьевна, с троими младшими детьми. Потом умер Евгений Егорович, вышли замуж младшая сестра отца Сергия – Сима и две двоюродные сестры, отец Серапион заленился ездить за сто с лишком верст. Филарет С-в, Санечка и Миша К-вы разъехались учиться по разным городам, приезжали в Острую Луку не в одно время и не всегда встречались.

Но кто бы ни приезжал, в доме всегда слышался смех и пение; по вечерам, когда сваливала жара, мужчины играли на площади в клек (городки), в чирик, причем отец Сергий не отставал от других. Позднее выходили женщины, подходили учителя с женами, псаломщик с женой и свояченицей, сторож Арений; покончив с делами, выходили кухарка и нянька, еще кто-нибудь из соседней молодежи. Играли в горелки, в кошки-мышки, в «макара» и расходились тогда, когда сторож шел звонить полночь.

И везде отец Сергий присутствовал, хотя и не принимал прямого участия; устраивал круг; чтобы он был больше, приносил вожжи, и тогда часть играющих стояла, поддерживая веревку, а не держась за руки; сам стоял с ними, и никому это не казалось странным. А теперь, пока гостей еще не было, он решил повеселить ребят, пускал змея и считал это еще более невинным занятием.

Но змея все-таки пришлось спустить. К отцу Сергию подошел один из его молодых помощников, Григорий Яшагин, и сказал озабоченно:

– Батюшка, пойдем сейчас к Кошигиным, мы их там маленько растравили. Сама тетка Ненила за Петром Ивановичем пошла, а я сюда.

Григорий Яшагин и другие молодые мужики: Николай Собашников, Никита Амелин, Сергей Прохоров – сблизилась с отцом Сергием во время спевки, которые он зимой устраивал в своей квартире. На спевках занимались тем, на что регенты не обращали должного внимания, – гласовым пением, тем, которое называют простым и которое гораздо красивее и молитвеннее многочисленных нотных переложений. При этом отец Сергий, который не мог руководить пением во время службы, добивался, чтобы певчие сразу принимали тон, в котором делался тот или другой возглас, и запедали, не дожидаясь камертона, без досадных «до-ми-соль-до», так искажающих службу и разрушающих создавшееся настроение.

– Батюшка возглас дает, им бы подхватить, а они докают да микают, камертон разогревают, не дожидаясь, когда запоют, – жаловались на подобные хоры прихожане.

Отцу Сергию со своими не особенно грамотными певчими удалось достичь того, что недоступно многим городским хорам, следующим за камертоном регента «как телок за коркой». Конечно, не обходилось без промахов, случалось, меняя тон или напев, хор разбредался кто в лес, кто по дрова, даже совсем останавливался, но исключения только подтверждают правила.

Многих привлекали на спевку скрипки и фисгармония отца Сергия, возможность после официальной части послушать еще что-нибудь, не обязательно духовное. Но постепенно там начинали говорить, и не только о пении. После очередного приезда миссионеров молодежь заинтересовалась беседами со старообрядцами, и отец Сергий предложил занятия на эту тему. Изучали историю раскола, вбирали его основные положения и возражения раскольников на беседах, учились говорить и брать инициативу в свои руки. «Нападать всегда легче, чем защищаться, – учил отец Сергий. – Когда вас засыпают вопросами, старайтесь ответить на них ясно, но покороче, а потом переходите в наступление, сами задавайте вопросы, добивайтесь, чтобы на них отвечали и не уваливали». Отец Сергий приводил один-два примера из своей практики и продолжал: «Старообрядцы, да и сектанты тоже, любят задать вопрос из одной темы, потом из другой, из третьей, так что их собеседник разбрасывается на мелочи и ничего цельного не получается. А если им зададут трудный вопрос, ста-

раются ответить на него мельком, не по существу и перескочить на другое. Не допускайте этого, повторяйте вопрос, на который они не ответили, покажите слушателям, что ответ недостаточен, не давайте уклоняться от начатой темы».

Через некоторое время молодые люди, сначала робко, а потом все увереннее начали пробовать свои силы в разговорах с соседями. Такие разговоры отец Сергей ценил чуть ли не больше настоящих, официальных бесед. Он считал, что последние слишком задевают самолюбие сторон и трудно надеяться убедить людей только этими беседами. Зато они пробуждают интерес к поднятым на них вопросам, после них начинаются разговоры в более спокойной, домашней обстановке, и тут-то можно довести людей до сознания своей неправоты. Такие разговоры часто возникали стихийно (может быть, и не совсем, а после нескольких наводящих слов), когда отец Сергей заходил к кому-нибудь по своим делам – купить дров, заказать новую плетюшку на рыдван и т. п. У его новых помощников, «застрельщиков», как он, шутя, называл их, было больше возможностей для таких встреч. Говорили летом по пути на сенокос, осенью – когда делили землю, зимой – шагая около дровней с хворостом. Если дела не было, его изобретали и, заведя нужный разговор, спорили до тех пор, пока одна из сторон не оказывалась в затруднении. Тогда решали пригласить батюшку и начетчика⁴ того толка, к которому принадлежали хозяева. И очень редко были случаи, чтобы батюшка не пошел, потому что ему некогда, – это дело он считал одним из важнейших.

– О чем говорили? Какие книги брать? – спрашивал отец Сергей, сматывая веревочку змея. – Ну, шпингалеты, – обратился он к малышам, – марш по домам. В другой раз еще запустим.

– Да разные разговоры были, – ответил Григорий, рассеянно следя за быстро мелькающей в руках батюшки палочкой, превращающейся в продолговатый клубок. – Книг пока не надо. Понадобится, так добежим.

Когда отец Сергей со своим спутником подходил к назначенному дому, туда уже набились любители послушать споров о Божественном. Соседи давно заметили, что к Кошигиным зашел Григорий, и, когда он выйдя, зашагал не в сторону дома, а в обратную, по направлению к церкви, а Ненила Кошигина, на ходу поправляя головной платок, заторопилась вдоль по улице, все поняли: будет беседа. Обыкновенно они затевались зимой, в свободные от полевых работ длинные вечера; сегодня был исключительный случай, и тем больше нашлось желающих послушать.

Беседы со старообрядцами носят своеобразный характер. Если молокане⁵, баптисты⁶ и подобные им основывают свои доказательства исключительно на Библии и спорят о почитании святых, об иконах, о том, можно ли участвовать в войнах, то раскольники спорят об исправлении книг при Никоне и об обрядах: на пяти или семи просфорах совершать литургию, двумя или тремя перстами креститься и т. д. Православные признают и те и другие обряды, требуя только подчинения церковной власти, но спорить приходится, приходится доказывать, что опасна не разница обрядов, а отсутствие духовной дисциплины. В связи с этим выдвигается самая серьезная тема – о Церкви. Оправдывая себя за невыполнение многого, что сами считают обязательным, старообрядцы объясняют это тем, что истинная Церковь повреждена антихристом и потому теперь «все порушено».

⁴ Начетчик – человек, много читавший и обыкновенно умеющий говорить «от Писания». – *Авт.*

⁵ Молокане – русская религиозная секта, получившая распространение в России во второй половине XVIII–XIX в. Молокане отвергают Священное Предание, церковные таинства, церковную иерархию и священство, храмы, иконы. Собираются для пения псалмов, чтения Священного Писания и обсуждения духовных вопросов.

⁶ Баптизм – одно из направлений протестантизма, возникшее в начале XVII в. в Западной Европе. В основе баптизма лежит положение о том, что крещение возможно лишь в сознательном возрасте. Основным авторитетом в религиозной жизни признается Священное Писание. В России баптизм стал распространяться со второй половины XIX в.

Свои положения они подтверждают ссылками на различные книги. Библии старообрядцы почти не читают, существует даже мнение, что, прочитав ее «от корки до корки», можно сойти с ума, «зачитаться». Зато они наизусть, с указанием страниц, цитируют Книгу о Вере, Книгу Никона Черногорца, Великий Катехизис, Кормчую и другие книги, и непременно по старым, неисправленным изданиям. Противораскольничьему миссионеру нужно иметь большую начитанность и находчивость, чтобы не дать запутать себя случайными, без связи выдернутыми фразами, иногда – неправильно истолкованными просто по недостаточному знакомству со славянским языком.

– Нет, Петр Иванович, ошибаешься, – говорил в самый разгар спора отец Сергей, – не может быть такого времени, чтобы истинная Церковь Христова, хотя бы при малом числе людей, не сохранилась на земле во всей чистоте со всеми таинствами и со священным чином. Ведь Сам Христос сказал об этом: «Врата адовы не одолеют ее».

– Врата адовы не одолеют, а еретики одолели, – возражал Петр Иванович, – как же написано: «Многим же еретикам и гонителем одоле Церковь».

Отец Сергей в первый раз слышал этот текст и, утомленный предшествовавшим разговором, не сразу нашел что ответить. Следуя общей в таких случаях тактике – прочитать цитируемое место и понять основную мысль, он переспросил: «Где-где, говоришь, это написано?» – и обратился к помощникам:

– Григорий, Николай, сходите к матушке, принесите эту книгу, да и другие заодно захватите, может быть, понадобятся.

Пока поджидали посланных, говорили кое о чем, напряжение ослабело, спорщики отдыхали. Но отец Сергей не переставал думать о затруднивших его словах. И вдруг его осенило. Догадка оказалась настолько проста, что он чуть не вскрикнул вслух: «Что же это я, славянский язык забыл?» – но сдержался и сказал другое:

– Как, по-твоему, Петр Иванович, какая разница в словах «повеле» и «повелеша»?

– Очень просто, – ответил Петр Иванович, немного удивленный вопросом. – «Повеле» – это когда один, а «повелеша» – много.

– Ну вот, вот, – подхватил отец Сергей, – так и тут, где ты сказал, говорится про одну, про церковь, а не про многих. Если бы говорилось про еретиков, то было бы сказано: «Одолеша». А написано «одоле», значит, не еретики одолели церковь, а она их одолела. – Принесли? – обратился он к вошедшим, покрасневшимся от быстрой ходьбы и тяжелой ноши помощникам. Книги были солидных размеров, в толстых деревянных, обтянутых кожей переплетах, с медными застежками.

– Ну и хорошо, еще не раз в них заглянем. А сейчас и без них разобрались. Ведь правильно? – повернулся он к слушателям.

– Правильно, правильно, – раздался голоса. Завзятые сторонники Петра Ивановича молчали.

Глава 5

«Голуби вы, голуби!»

1910 г.

Долго же в этот вечер пришлось матушке ожидать мужа! Она покормила и уложила детей, а сама села было шить новую рубашечку Косте, потом отложила ее и взялась за книгу, но ни чтение, ни шитье не ладились. Время от времени она выходила в неосвещенную залу, приподнимала занавеску у окна и напряженно и безрезультатно всматривалась в темноту. Когда наконец послышались знакомые шаги, матушка вышла навстречу недовольная,

но отец Сергей, торопливо глотая остывший суп, оживленно рассказывал разные эпизоды беседы, и Евгения Викторовна тоже оживилась и заинтересовалась. Старательно размешивая гречневую кашу, в которой никак не хотело таять масло, она расспрашивала о подробностях, радовалась удачным ответам, волновалась и трепетала, когда отец Сергей рассказывал, как он чуть было не осрамился. Может быть, они одни только не спали в селе в такое позднее время.

Нет, не только они. Неожиданно на улице против их окон раздалось пение. Своеобразный, тягучий напев духовного стиха, который поют бродячие нищие.

Голуби вы, голуби,
Голуби вы сизии!
А куда вы, голуби, летали?
А мы летали во Святый Град.

Певцы пели с чуть заметной гнусавинкой, с легким дребезжанием в голосе, но чувствовалось, что голоса молодые, сильные и что певцы владеют ими гораздо лучше, чем это нужно слепым нищим.

– Наши! Миша и Филарет!

Евгения Викторовна вскочила, чтобы бежать отпирать дверь.

– И еще кто-то с ними, – добавил отец Сергей. – Подожди, я через коридор пушу, здесь ближе.

Через полминуты в коридоре загремел тяжелый засов и раздался веселый голос отца Сергия:

– Проходите, проходите, по ночам не подаем! Еничка, посмотри, ворвались какие-то хулиганы, и не выгонишь!

Конечно, это были Филарет и Миша и их товарищ Сашка Архангельский. Но отец Сергей был прав, назвав их хулиганами. В лаптях с неумело намотанными онучами, в косоворотках и деревенских пиджаках, наброшенных на одно плечо, в картузах, лихо заломленных на затылок, а у Филарета сдвинутым чуть не на самые глаза, с растрепанными волосами, котомками за плечами и увесистыми палками в руках, они действительно имели такой вид, что одинокий прохожий, встретившись с ними среди поля, мог почувствовать себя очень неуютно.

– Что это вы так нарядились? – рассмеялась и Евгения Викторовна.

Молодые люди наперебой рассказывали, что они решили пешком пройти по всему уезду, побывать в Высоком, у отца Евгения, брата отца Сергия, и у других более дальних родственников и знакомых.

Эта прогулка, на которую они смотрели как на оригинальное развлечение, едва не причинила им неприятности. Когда они проходили через большое волостное село верстах в двенадцати от Высокого, их задержал урядник, заподозривший в них агитаторов. Им едва удалось добиться, чтобы их показали местному священнику, который бывал у отца Евгения и знал их всех. Под его поручительство молодых людей и отпустили, но дальше они путешествовали уже в своем виде.

Притихший дом оживился, разбудили Агашу. Она, заспанная и веселая, достала из погреба молока и поставила самовар. Наварили яиц и, истребляя импровизированный ужин, говорили, говорили, словно все новости непременно нужно было выложить сегодня. Заботливые хозяйки в соседних домах уже начали просыпаться и посматривать на звезды – не проспать бы, не опоздать выгнать овец, – когда гости наконец успокоились на широкой кошме в предбаннике. А на восходе солнца они уже были на ногах: захватили фотоаппарат, хра-

нившиеся на мазанке Мишины удочки (замечательные удочки, с бамбуковыми удилищами и пробковыми поплавками) и отправились на Чагру – купаться и удить.

Соня в это утро тоже поднялась раньше обыкновенного, по крайней мере ей так показалось, потому что мама и Агаша спали. Она не могла понять – во сне или в действительности она слышала голоса дядей. Девочка осторожно оделась, крадучись вышла из спальни. От этого народа можно ожидать всяких проказ, прежде всего, они могут где-нибудь спрятаться и выскочить, когда она не ожидает, или выкинуть еще какую-нибудь штуку. Но теперь у нее есть шансы перехитрить противника: никто не подозревает, что она встала, а она тут как тут.

Сначала ей как будто повезло: в уголке прихожей стояли пыльные котомки. «Большие, а не догадались мешки спрятать», – про себя посмеивалась Соня, уверенная, что гости прячутся от нее, и продолжала поиски. Она обошла все сараи, заглянула в каретник и на погребницу, постояла около конюшни, прислушиваясь, не раздастся ли с сеновала приглушенный смех, и вернулась разочарованная. Гости успели-таки исчезнуть.

Они явились только к чаю, да и то с опозданием. Вернулись голодные, без рыбы, но довольные прогулкой. Едва позавтракав, Филарет с Астраханским забрали из стола отца Сергия фотореактивы и лампочку с красным стеклом и, посмеиваясь, отправились в темный чулан проявлять сделанные снимки. Через некоторое время Филарет торжественно показал еще влажный негатив:

– Рекомендую вашему вниманию знаменитого рыболова!

На негативе струилась неширокая река, поднимался сажени на две обрывистый берег, сверху поросший тальником. Песчаная площадка около самой воды привлекла бы внимание любого удильщика. Он и был там: в воду закинуто несколько удочек, рядом стоит маленькое ведро для рыбы, а сам Миша мирно спит, свернувшись калачиком и прикрывшись фуражкой от бьющих в глаза солнечных лучей.

Глава 6 Пешком

1910 г.

С увеличением семьи молодые супруги начали задумываться о будущем. Острая Лука – село небольшое, к тому же на третью часть зараженное расколом, одно из тех сел, в которых священнику для поддержания сносного существования давался двойной земельный надел, но и этого было мало. Правда, пока доходов хватало, но вот дети подрастут, будут учиться, нужно будет одевать их, платить за обучение, за книги, чаще ездить в город, – тогда будет трудно, нужно к тому времени найти дополнительные средства к жизни. И отец Сергей снова вспомнил про пчел. Вернее, он не забывал их никогда, в его огороде, как раньше в Царевщине, каждый год стояли один-два улья, но это было занятие между делом, а теперь следовало поставить все на более широкую ногу – обзавестись медогонкой, разным недостающим инвентарем, ульями и рамками в достаточном количестве, постепенно увеличить пасеку и добиться того, чтобы она стала доходной. Весной 1909 года, когда Косте было полгода, а еще через полгода ожидался Миша, отец Сергей довел пасеку до двадцати пяти ульев. Целая куча липовых колод, в течение нескольких лет медленно превращавшаяся в труху в углу двора, показывала, сколько трудов и затрат требовалось для этого.

Отец Сергей покупал в соседних селах пчел в колодных ульях, перегонял их в рамочные, соединял, чтобы были сильнее, по две-три семьи в одну, подкармливал сахаром, выпивал с Кавказа породистых маток.

Когда с лугов сошла вода и попросохли дороги, он договорился со стариком-пчеловодом Евдокимом Лукьяновичем, и они вместе вывезли своих пчел версты за четыре от села, в займище, где буйно цвел терн и что ни дальше, то сильнее расцветали травы. Пчельник разместили на полянке недалеко от маленького озерца, питаемого родничком, а небольшая караулка с плетеными стенами прижалась около самых зарослей терновника, напоминавших сказочную Сиреневую рощу: как там, так и тут невозможно было удержаться и не сорвать цветущей ветки, а когда она была сорвана, рядом оказывалась другая, еще пышнее и красивее, дальше – третья и т. д., до тех пор, пока в руках не оказывался громадный ворох цветов, платье было порвано, а лицо исцарапано. Конечно, пропасть совсем, как в Сиреновой роще, здесь было невозможно, но все-таки человек, не привыкший ориентироваться в лесу, мог сбиться с дороги и попасть в довольно неприятное положение. Поэтому Евгения Викторовна, когда они всей семьей приезжали на пчельник, не отпускала от себя Соню и сама старалась держаться поближе к полянке. Так было и весной, и летом, когда кусты были осыпаны целыми вязущими, но тем не менее привлекательными ягодами. Матушка с Соней и приезжими из Самары гостями гуляли, рвали цвет, пили чай с терном и только что вынутым медом и возвращались, вполне довольные прогулкой. Сам отец Сергей бывал на пчельнике гораздо чаще, чаще пешком, чем на лошади, и оставался подолгу, выполняя необходимые работы и приучая к ним компаньона.

– Ведь он как ведет пчеловодное хозяйство, – говорил отец Сергей. – Конечно, не как при Адаме, а как при Ное. Когда после потопа Ной посадил виноградник, там у него, конечно, были и пчелы, и знал он о них немного больше, чем Адам. Вот и Евдоким Лукьянович хозяйничает, как Ной.

И все-таки на этого «Ноя» пришлось бросить пасеку надолго и в самый ответственный момент. Когда болезнь Кости раньше времени погнала отца Сергея в Самару, он надеялся, что вернется достаточно рано и успеет подготовить пчел к зиме. Но епархиальный съезд, на который он выбирался бессменным депутатом в течение нескольких лет, в этом году затянулся, и вернулся отец Сергей только тогда, когда ульи стояли в зимовке. Это оказалось роковым. Его неопытный заместитель немного пожадничал, отбирая осенью мед, оставив на зиму слишком маленький запас, и в результате весной отцу Сергию из двадцати пяти ульев едва удалось собрать три жизнеспособных – остальные погибли от голода.

Три улья были поставлены на огороде, куда выходили окна кухни, покупка и перегонка пчел из колод возобновилась, а караулку в лесу забросили. Только в половине лета отец Сергей, вспомнив, что там остались необходимые ножи и еще кое-что из местного инвентаря, решил сходить за ними. И тут-то вступилась пятилетняя Соня и предъявила свои требования:

- Папа, возьми меня с собой!
- Куда ты, я пешком пойду.
- Все равно, возьми!

* * *

Отец Сергей горячо любил детей и, едва они начали подрастать, таскал их с собой везде, где было можно. Если он ехал куда-нибудь в поле, из-за бортов его брички непременно выглядывало несколько детских головенок – свои дети и их приятели.

– Батюшка, продаешь горшки? – спрашивали встречные.

– Непродажные, непроданные! – наперебой кричали «горшки», но отец Сергей иногда начинал торговаться.

«Покупатели» осматривали «горшки», стучали пальцами по лбу и затылку, чтобы определить, не худой ли, находили где-нибудь дырку и отказывались. Это было и весело, и

немного жутко. Правда, Миша первые годы не выдерживал долго. Он засыпал иногда еще в селе, а Соне и Косте приходилось вдвоем отбиваться от нападения.

По мере того как дети подрастали, поездки для них становились все интереснее. Кроме удовольствия от самого процесса езды и от новых картин природы можно еще было подержать кнут или кончик вожжей; потом на ровных пустынных участках дороги вожжи совсем переходили в руки одного из молодых кучеров по очереди, а то и сразу двоим: одному правая вожжа, другому левая. Отцу оставалось только умерять нетерпение третьего, временно оставшегося не у дел, делать методические указания молодым кучерам и быть готовым каждую минуту взять инициативу (то есть вожжи) в свои руки. Но такие секунды становились все реже и реже. Правда, и лошадей отец Сергей старался приобретать самых спокойных.

Пешие прогулки, по большей части с бреднем, на озера, к омутам небольшой речки Чагры, а то и на Волгу, берег которой находился по прямому направлению, верстах в шести-восьми от села, отец Сергей долгое время де лал один, то есть с компаньонами, но без детей. Иногда он ходил и совсем один, изучал, какие растения и на каком расстоянии от дома охотнее посещают пчелы. Для этого он массажи окрасивал их в какой-нибудь яркий цвет, а потом ходил и смотрел, где больше видно окрашенных пчел, и, если располагал свободным временем, готов был бродить по займищу целый день. Домой он возвращался уже к вечеру, измученный, довольный, с новыми замыслами, которые так легко рождались и обдумывались наедине с природой, и непременно с целым венком полевых цветов, вырванных часто вместе с корнями.

– Это я от жены откупался, – смеялся он впоследствии, вспоминая об этих цветах. – Запоздаю, чувствую, что она беспокоится и пилить будет, надергаю побольше цветов, она и растет, и гроза минует.

Но, кажется, собирая цветы, на что тоже требовалось немало времени, он думал не только об удовольствии, которое доставит Еничке его подарок (и, конечно, не о «грозе»). Ему и самому нравилось это занятие, иначе он не стал бы, чуть не ползком, исследовать непролазные чащи кустарников с еще голыми после недавнего половодья нижними ветками, в надежде найти притаившийся в самой глубине темно-лиловый ирис. Он приносил немало и их, и других нечасто встречающихся цветов, а для быстро вянущих водяных лилий даже приносил в маленьком ведерке их родной болотной воды с илом.

– Как много! – ахала матушка, когда он весело вручал ей всю охапку, и опасно косилась на приставшие к корням комья земли и на длинные мокрые трубчатые стебли водяных лилий. – Сережа, неужели нельзя было рвать цветы, а не дергать с корнями?

– Не выходит. Заберу их в горсть, хочу сорвать, а они выдергиваются. По одному? Да сколько же времени понадобится, чтобы собрать такой букет по одному цветку? И нести неудобно, и не знаю я, какой длины рвать. Обрезай сама, как хочешь!

Еничка отбирала лучшие цветы, вазочки на фисгармонии и на трюмо, наливала воды в пару банок из-под варенья, в которые едва можно было втиснуть остальные. Соня приносила ножницы, и они усаживались на высоком крыльце во дворе делать букеты.

А один раз в самой большой банке поселилась целая коллекция моллюсков – речных перловиц. Дети вместе с отцом, а иногда и с матерью, наблюдали, как они то лежали, полужарывшись в насыпанный на дно песок, то, выставив между створок белый отросток – «ногу», медленно передвигались, оставляя на песке извилистую дорожку, то, просто приоткрыв створки, «дышали», забирая и выталкивая воду. Иногда кто-нибудь из наблюдателей пропускал в щель между створками соломинку и щекотал белевшее там тело моллюска – перловица «чихала», выпустив фонтанчик воды, и быстро, прищемив соломинку, захлопывала створки.

* * *

Отцовская любовь к долгим прогулкам передалась и детям. В одиннадцать-двенадцать лет они уже бродили, в одиночку или со сверстниками, по лесу и полям. Еничка сначала немного беспокоилась, но она и сама выросла в селе, среди природы, и муж настаивал на предоставлении детям самостоятельности. Поэтому она ничего не возражала, даже если эти путешествия происходили в осеннюю или весеннюю ростепель и дети приходи ли мокрые выше колен, с полными галошами жидкой грязи, перемешанной со снегом. В этих случаях она только требовала, чтобы, возвратившись, дети надевали сухую обувь, мыли грязную, а мокрые чулки полоскали и клали сушить в горячую печурку.

Но это было уже порядочно спустя, их самостоятельность развивалась постепенно, начинаясь с недалеких прогулок по селу в сопровождении матери или отца. Со временем у отца Сергия выработался опыт в обращении с детьми и довольно правильное представление об их физических силах. Тогда же, когда Соня с детской самоуверенностью говорила: «Пойду с тобой пешком», – этого опыта еще не было. Наоборот, как большинство молодых отцов (ему еще не исполнилось двадцати восьми лет), всегда желающих, чтобы их дети поскорее росли, он склонен был переоценивать ее силы. Поэтому он не отказал ей категорически, а вступил в переговоры:

– А на руки не будешь проситься? Ты уже большая, тебя нести тяжело, да у меня и руки будут заняты.

– Не буду проситься, пойду сама.

– Ну так давай у мамы спросим!

– Неужели ты серьезно хочешь взять ее с собой, Сережа? – удивилась матушка. – Измучишься!

– Она обещает не проситься на руки, – повторил отец Сергей самый сильный аргумент.

– Да, обещаю. Мамочка, пусти! – просила и девочка.

– Ну, что с вами поделаешь, оба вы, наверное, немного с ума сошли. Соне еще прости-тельно, она маленькая, а ты...

– А мне, может быть, и сходить-то не с чего, – весело отпаривовал муж. – Ну, Соня, где твой платок, тащи его сюда, мама сейчас даст нам на дорогу чего-нибудь поесть, и пойдем. Живо!

Дорога оказалась труднее, чем думала девочка. Солнце припекало довольно сильно, маленьким ножкам нужно было сделать очень много шагов еще в селе и еще гораздо больше по лугам, прежде чем они добрались до поросшей травой дороги среди кустарника, тоже плохо защищавшего от полуденного солнца. Сначала Соня не замечала трудностей. Ее внимание привлекали то пестрые цветы, колышущиеся в траве, то не менее пестрая бабочка или бирюзовое коромысло⁷, то внезапно выпорхнувшая из травы птичка, то мохнатый шмель, с низким гудением перелетавший с цветка на цветок. Однако постепенно все это надоело, и все сильнее начинала чувствоваться и жара, и усталость, и жажда. Об усталости приходилось молчать, хотя шаги становились все меньше и медленнее и под конец ноги совсем заплетались. Впрочем, девочка надеялась, что папа ничего не замечает, и держалась, насколько возможно, стойко. Другое дело жажда. Тут уговора не было, а солнце жгло, а вдоль дороги тянулось узкое, поросшее осокой болотце, на середине которого соблазнительно поблескивала вода. Но достать ее было невозможно; берега и дно болотца покрывал вязкий ил, в котором тонули ноги и чистая на вид вода мутилась гораздо дальше, чем можно было достать рукой. Да и что пользы, если бы отец Сергей даже сумел достать эту воду? Сам-то он еще

⁷ Коромысло синее – крупная стрекоза.

мог бы напиться, но Соне в пригоршне воды не натаскаться. До караулки ли тут, со всем, что в ней еще оставалось! Прежде нужно найти воду, которую можно пить!

– погоди, Соня, вот тут, недалеко от пчельника, был родничок. Евдоким брал из него воду, – вспомнил отец Сергей, раздвинув густые заросли терновника, вышел на маленькую полянку. Увы, родничка не было. Во время половодья его затянуло песком.

Отец Сергей немного постоял в задумчивости. Соня сидела под кустом недалеко от него, и по ее покрасневшему пыльному личику и запекшимся губкам было видно, что, если эта последняя надежда изменит, она не выдержит и расплачется. «Другого ничего не придумаешь, придется рыть колодезь», – сказал он ей.

Колодезь! Соня даже про усталость забыла и, перебравшись поближе к отцу, с интересом наблюдала, как он взрыхлял перочинным ножом влажную землю в ямке и выгребал ее руками. Земля постепенно становилась все мокрее и мокрее. Некоторое время отец Сергей выбрасывал из довольно глубокой уже ямы сантиметров тридцать в диаметре только жидкую грязь, наконец встал и вытер руки о траву.

– Теперь нужно подождать, пока вода устоится. А мы пока пойдем и поищем, чем же будем пить, – предложил он дочери.

Дети быстро утомляются, но и быстро отдыхают, особенно если их внимание привлекало что-нибудь интересное. Бродить по кустам Соня отправилась так, словно и не было только что пройденных четырех верст. Им повезло. Скоро отец Сергей сунул руку в кучу нанесенного половодьем мусора и достал оттуда длинное прямое корневище с утолщением, в мужской кулак величиной, на конце. В середине утолщения была небольшая ямка – дупло, а когда отец Сергей очистил его ножом и обрезал мешавшие кругом сучки и корни, у них оказался прекрасный черпак, точно длинная тонкая рука со сложенной горсточкой ладонью. Правда, там помещалось всего два-три глотка воды, но в том ли дело! Зато пить ее необыкновенно приятно.

А потом папа придумал другое, и опять очень интересное. Оказалось, что во время возни с колодцем он потерял ключ от караулки, и ему пришлось выдирать маленькое, слабо укрепленное в плетеной стенке оконце и лезть внутрь через окно, словно разбойнику. А Соня сидела около на траве и смеялась. В караулке папа нашел кусок клеенки, которой покрывают ульи, и, свернув ее фунтиком, опять доставал воду, на этот раз много, и они опять пили, и закусывали, и еще пили на дороге, хотя Соня, если бы была ее воля, не ушла бы отсюда до самого вечера. Она была так поглощена всеми этими событиями, что даже не заметила, взял ли папа из караулки еще что-нибудь, кроме клеенки. Зато хорошо запомнилось, что палку с черпаком на конце он взял, и шел, опираясь на нее, и говорил, что так идти гораздо легче. Он и Соне вырезал палочку по ее росту и учил, как нужно опираться и шагать шире и ровнее. Это был первый из уроков ходьбы, которые ей потом такгодились.

Кажется, на обратном пути они несколько раз отдыхали, но это неважно; Соня строго исполняла свое обещание и не жаловалась на усталость, а если папа сам садился, это его дело. Войдя во двор, папа мимоходом бросил свою палку на кучу полусгнивших колодных ульев и, не останавливаясь, прошел в дом. Соня бросила свою туда же, хотя ей пришлось подойти для этого гораздо ближе, и медленным ровным шагом отправилась следом за отцом. В этот момент она сознавала себя почти что взрослой.

Глава 7

Трудное лето

Тяжело досталось Евгении Викторовне лето 1910 года. К хлопотам, связанным с приездом многочисленных родственников, она привыкла, считала их в порядке вещей и не тяготилась ими. Но среди лета вдруг заболела Соня. У нее началось рожистое воспаление на

ноге, и девочка, весной бодро путешествовавшая с отцом на пчельник, лежала как пласт на постели или сидела, положив больную ногу на подушку, крича и плача при всякой попытке вытянуть ее.

Выздоровев, она разучилась ходить и долгое время только быстро-быстро ползала на четвереньках из комнаты в сени, на кухню, на крыльцо и с удовольствием поползла бы и по двору, если бы за ней не следили и не переносили на большую кучу песка, где копался маленький Костя. В самый разгар ее болезни захворал и Костя: на шейке за ухом у него образовался большой нарыв. Мальчик плакал от боли дни и ночи, пока приехавший фельдшер не вскрыл гнойник. Истомившийся ребенок уснул, не дождавшись конца перевязки, но матери отдыхать было некогда. Даже имея няnek, нелегко справиться с тремя детьми, из которых ни один не ходит. Слабенький, рахитичный Костя начал ходить только почти с двух лет, одновременно с Мишей, бывшим моложе его на тринадцать месяцев, и всю жизнь отставал от него в физическом развитии.

В таких условиях особенно обременительными являлись, если можно так выразиться, «официальные» гости, и, казалось, что они приезжали особенно часто.

То заедет благочинный проверить ведение приходо-расходных и метрических книг и летописи, то епархиальный наблюдатель над церковно-приходскими школами, то еще кто-нибудь. Ближе к осени в Острой Луке состоялся окружной съезд духовенства. Этот съезд назначался ежегодно, по очереди в одном из двадцати с лишним сел округа, и, как нарочно, именно в этом году очередь пала на Острю Луку.

Не успели забыть о суете, связанной с кормлением двадцати малознакомых гостей, как почта принесла новое известие: едут миссионеры, чтобы провести в селе серию бесед.

«Еничка даже заплакала, когда услышала об этом, – писал в своем дневнике отец Сергей. – Так она измучилась за лето. Я советовал ей не хлопотать особенно, а готовить то, что обыкновенно готовится для себя, но она и слышать не хочет».

Такой разговор поднимался уже не в первый раз, и однажды, когда отец Сергей посоветовал подавать гостям то же, что и себе: щи так щи, кашу так кашу, – одна соседняя матушка возразила с неудовольствием: «Щи и кашу мы и дома едим, а в гостях хочется чего-нибудь повкуснее». Потому-то Евгения Викторовна и волновалась. Муж посоветовал ей пригласить побольше помощников. Но и сам понимал, что все эти помощники только для черной работы, а основное в таких случаях хозяйка всегда возьмет на себя, но чем же еще он мог помочь?

Ехали новый епархиальный миссионер отец Сергей Пряхин и его помощник Лев Иванович Донсков. Их противником должен быть известный на всю Россию беспоповский⁸ начетчик Фома Лаврович Кулаков. Все знавшие Пряхина и прежнего миссионера, отца Дмитрия Александрова, единогласно подтверждали, что Александров имел гораздо больше знаний и, пожалуй, был красноречивее Пряхина, но его речь отличалась книжными оборотами и была суховата, а Пряхин не вдавался в большие глубины, говорил проще, живее, понятнее для своих простых слушателей; его любили слушать. Донскова мало кто знал, но говорили, что в этом отношении он идет еще дальше Пряхина. Церковь, где происходили беседы, никогда не пустовала, а в этом году она просто ломилась от желавших послушать беседы.

Как и всегда, на амвоне стоял стол для очередного оратора и скамья для духовенства; кроме хозяина и миссионеров, были еще несколько приезжих из соседних сел, все в парадном виде, в рясах, с крестами на груди. Фома Лаврович Кулаков, человек лет сорока пяти,

⁸ Беспоповство – одно из основных направлений старообрядчества, возникло в конце XVII в. Отсутствие в расколе архиереев привело со временем к прекращению священства. Не признавая священников, переходящих из Православия, и считая, что наступили последние времена, беспоповцы живут без священства и большинства таинств.

сугубо раскольничьего вида, с подстриженными в кружок волосами и в тончайшего сукна поддевке, сидел со своими приверженцами и помощниками на ближайшей к амвону скамье, перед которой ему был поставлен еще другой стол, заваленный привезенными им старопечатными книгами. Но Фома Лаврович надеялся не столько на эти книги, сколько на свою смекалку и острый язычок. Он в совершенстве владел искусством раскольничьих начетчиков запутывать неопытных собеседников в дебрях схоластических споров. С более опытными, отмахнувшись, как от несущественного, от всех опасных вопросов, он напирал на излюбленные старообрядцами мелочи: имя Христово искажали, пишут Иисус вместо Исус, «щепотью» крестятся, табак курят; ловко играл острыми и язвительными словечками. Одной из любимых его фраз было: «Прежде разбойников вешали, а теперь кресты повесили на разбойников». Его сторонники поддерживали его одобрительным гулом, а то и гоготом.

На этот раз одним из основных аргументов Кулакова были две картинки, изображающие священников за совершением литургии. В этих картинках, до подробностей сходных между собой, была, однако, громадная для старообрядцев разница: один из священников служил на семи просфорах и крестился двуперсто, а другой – на пяти и складывал для крестного знамения три пальца. Соответственно с этим на первой картинке священника благословлял ангел, а на второй – сзади его стоял диавол. Вскользь ответив на положения открывавшего беседу Пряхина, Фома Лаврович долго, со смаком демонстрировал и объяснял слушателям обе картинки и наконец сел, под довольное перешептывание своих сторонников. К ораторскому столику, не торопясь, подошел Лев Иванович Донсков. В мешковатом пиджачке, со спокойными, неторопливыми движениями, он производил впечатление мужичка-вахлачка и не внушал опасений противникам. Как оказалось, он, как и Кулаков, не имел намерения углубляться в старые писания.

– Фома Лаврович, дай-ка мне картинки-то, – медленно и внятно произнес он, протягивая руку.

Как и Кулаков, он высоко поднял картинки, чтобы всем было видно, и начал не спеша разбирать их.

– Хорошие картинки, очень хорошие, – мягким, певучим голосом, напирая на «о», говорил он, поглядывая то на одну, то на другую. – Только не пойму я, что ты тут, Фома Лаврович, нашел обидного для Православной Церкви. На этой вот картинке священник крестится тремя перстами. Три пальца сложил вместе в честь Святой Троицы, а два пригнул в знак двух естеств у Иисуса – Божественного и человеческого. Очень хорошо! Так и мы крестимся. А на этой картинке он два перста поднял, а три пригнул, – вид другой, а значение то же самое. У нас и так многие крестятся, мы никому не запрещаем, кто как привык. А у вас, Фома Лаврович, как священник крестится? – вдруг спросил он.

Фома Лаврович немного опустил голову и не ответил. Беспоповцы потому так и называются, что не имеют священников, и, следовательно, у них не совершается и литургия.

– Теперь на этой картинке, – продолжал Донсков, – священник совершает службу на семи просфорах, в знак чудесного насыщения четырех тысяч людей семью хлебами. И у нас так служат в единоверческих⁹ церквях. Вот отец Андрей так служит, и крестится двуперстно, – указал он на отца Андрея Букашкина, единоверческого священника из соседнего села Теликовка. – А здесь – служат на пяти просфорах в честь другого чуда, когда Спаситель пятью хлебами пять тысяч мужей насытил. Тоже чудо, да еще больше. Там на четыре тысячи семь хлебов, тут пять на пять тысяч. Поэтому мы, православные, на пяти хлебах и служим. И на той картинке ангел благословляет – понятно! А на этой диавол – не может к святыне приступить и трепещет. Тоже хорошо! А у вас, Фома Лаврович, на скольких просфорах слу-

⁹ Единоверие – вид воссоединения русских старообрядцев-раскольников с Православной Церковью, предполагающий подчинение православному архиерею при сохранении старого обряда.

жат? Фома Лаврович, да что же ты не отвечаешь? Где же ты, Фома Лаврович? Не вижу! Фоо-ма Ла-авры-ыч! (Кстати, впоследствии Кулаков перешел к беглопоповцам и разъезжал по беседам уже от их имени. Там ему не приходилось отвечать хоть на этот тяжелый вопрос.)

Беседа еще заканчивалась, когда ближайший сосед и кум отца Сергия отец Григорий Смирнов вышел из церкви и пошел к квартире С-вых. Отец Григорий, как и полагалось по его фамилии, держался всегда ровно и спо койно, в приходе никаких новшеств не заводил, на съездах не горячился, на выборные должности не выдвигался – и все-таки слыл беспокойным. Может быть, потому, что высказывался хоть редко, да едко, попадая своими острыми замечаниями кому хотел не в бровь, а в глаз. Например, года два назад, получивши, правда, с большим опозданием против возможного минимального срока (три года) вторую священническую награду – скуфью, он, в присутствии благочинного, сумел так высказать свое мнение о произволе в представлениях к наградам, что благочинный обиделся и, пока служил, не представлял строптивого батюшку к следующей награде.

Все знавшие его, особенно отец Сергий, любили рассказывать о его маленьком, но характерном столкновении с мадам Маттэрн, женой земского начальника, квартира которого находилась в том же волостном селе Березовая Лука, где служил отец Григорий. Случилось это осенью, в день начала ученья в школах. Отец Григорий, по обыкновению, ровно в восемь часов утра отслужил молебен перед началом ученья в церковной школе и пришел в земскую, попечительницей которой считалась первая дама волости, мадам Маттэрн. Там также все уже собрались, и ученики с родителями, и учителя, не было только попечительницы. Подождав с полчаса, решили послать к ней, напомнить. Посланный вернулся с лаконическим ответом: спала, скоро встанет и придет. Через новые полчаса послали вторично. Ответ получился уже раздраженный: она же сказала, чтобы подождали, что она скоро будет. Подождали еще полчаса, еще лишние десять минут; ребятишки истомились, взрослые тоже, и решили начать молебен. Мадам Маттэрн явилась разряженная, со своими гостями, когда дети уже сидели на партах, ожидая начала уроков, а отец Григорий, взяв шляпу и палку, направлялся к выходу. Волостная гранддама недовольно поморщила носик и ядовито осведомилась, почему не потрудились подождать ее, ведь она говорила, что придет. Отец Григорий довольно спокойно возразил, что ее ждали час сорок минут, что дети устали ждать, а их родители не могли терять целый рабочий день в эту еще горячую рабочую пору. Мадам Маттэрн слушала его полуотвернувшись и рассматривая в лорнет какую-то неизвестную точку на стене, потом, также вполоборота, презрительно бросила:

– Свинья останется свиньей!

– И будет заставлять ждать себя час сорок минут, – громко и отдельно отчеканил отец Григорий, подчеркивая каждый слог ударом об пол своей тяжелой палки. Потом повернулся и вышел, не слушая раздавшегося сзади истерического визга.

Маттэрн потом грозил, что добьется неприятностей для дерзкого священника, ездил к архиерею, но дело кончилось ничем, только матушка поволновалась, а за батюшкой окончательно утвердилась репутация беспокойного.

Когда отец Григорий, войдя в прихожую С-вых и сняв шляпу, расчесывал свои волнистые, слегка рыжеватые волосы, из столовой доносился звон расставляемой к ужину посуды и плачущий голосок Кости, жалующегося матери:

– Мимика, паника!

– Что это у вас за зашифрованные разговоры? – спросил отец Григорий, здороваясь с хозяйкой. – Что за паника? Кажется, наоборот, все очень спокойно. И при чем тут мимика?

– «Мимика» – это значит «Мишенька», – ответила Евгения Викторовна, вытирая заплаканное личико Кости, – «паника» – просто «пряник». Миша, ведь я тебе дала печенье, зачем же ты отнимаешь у Кости? Отдай!

Миша недовольно засопел, протянул ручонку и покорно отдал награбленное. Отец Григорий обернулся к нему:

– Что это ты воюешь, крестник? А я думал, что ты умный, привез тебе конфетку. Не будешь больше обижать Костю?

Миша отрицательно мотнул головой и потянулся за подарком. «Дай и Косте попробовать», – сказала матушка, помогая ему снять бумажку, и Миша, засопев, на этот раз от усердия, ткнул конфетку прямо в рот брата. На улице раздались голоса и шаги. Возвращались с беседы.

Ужинали с аппетитом, оживленно обсуждая различные моменты беседы. Только отец Андрей Букашкин после супа недовольно окинул взглядом разноцветные бутылки с водами и почти обиженно спросил:

– Что же, и по этому случаю ничего покрепче не полагается?

– Ни по этому, ни по какому другому, – отозвался отец Сергей, а Евгения Викторовна наморщила свой чистый белый лоб и слегка сдвинула темные, словно нарисованные, брови. Она слышала подобные замечания еще в детстве, при жизни отца, тоже никогда не имевшего в доме крепких напитков, но никогда не могла привыкнуть к такой бесцеремонности.

Отцу Андрею пришлось смириться. Поддерживая непомерно широкий рукав рясы, он потянулся к блюду, положил себе на тарелку кусок заливного поросенка и запил нежное, тающее во рту мясо сначала вишневым, а потом апельсиновым водичей.

– Противораскольничья миссия у нас в епархии поставлена хорошо, – говорил в это время отец Владимир Аристовский, самый дальний из гостей, приехавший за пятнадцать верст из степного села Брыковка. – У вас есть и опыт, и люди для бесед. А нам, имеющим дело с сектантами, приходится брести ощупью, самим добывать для себя материал и вырабатывать тактику. Совершенно не у кого поучиться.

– Тактика у нас тоже у каждого своя, – ответил ему Пряхин, расправляя усы и осторожно подкладывая на тарелку новую порцию горчицы. – Сравните, как говорит Александров, или вот наш новый сотрудник Лев Иванович, или Кургаев, которого вы, наверное, тоже знаете, ведь он почти из этих мест. У каждого свое, и у каждого находятся ценители, которым его манера особенно нравится. И материал каждый подбирает сам. Правда, теперь у нас имеется книжечка Александрова, которой мы пользуемся как пособием, но ведь она просто объединяет материал его прежних бесед. Попробуйте-ка вы поработать столько, сколько он, да запишите, что было интересного в каждой беседе, и посмотрите, может быть, еще лучше получится.

Ему откликнулось сразу несколько голосов. Пряхин всегда удивительно умел одним словом зажечь людей, возбудить в них желание работать. Особенно испытывал это на себе отец Сергей, к которому, как к интересующемуся миссией, Пряхин часто приезжал проводить беседы.

– Хорошо вам говорить, – наконец ухитрился вставить слово Аристовский. – Мы-то когда еще что напишем или нет, а время идет. Отец Димитрий потому и книжечку написал, что всей душой делу отдавался, да и новые ваши, по-моему, тоже такие... хоть и не полагается в глаза хвалить, – шутливо обернулся он к Пряхину, – да мне вы не начальство. А наш Михаил Маркович, что греха таить, леноват. Все ссылается, что у нас практическая подготовка есть, в семинарии беседы с молоканами проводили. Да ведь когда проводили-то! Только при архимандрите Вениамине¹⁰ со слепым молоканином-начетчиком беседовали... как его... забыл...

– Это который архимандрита-то экзаменовал, сколько в Евангелии глав, – засмеялся отец Евлампий, высокий, худой батюшка с козлиной бородкой.

¹⁰ Впоследствии митрополит Петроградский. – *Авт.*

– Как так?

– А вот так, не знаете? А вот отец Сергей знает.

– Знаю, присутствовал, – улыбнулся хозяин. – Да уж рассказывайте! – Вот-вот, и я присутствовал, сам вопросы задавал, – продолжал отец Евлампий. – Все мы, семинаристы, после беседы обступили старика и задаем вопросы, один то, другой другое. И Вениамин тут же: заметит, что семинаристы что-то упустили, и сам вопрос задаст, а немного погодя еще... да еще... да все по самым слабым местам бьет. Старик его голос приметил, думал, что это тоже семинарист, хотел его осрамить да и прицепился к нему:

– Что ты все лезешь? Много ли сам-то знаешь? Ну-ка, скажи, в Евангелии от Марка сколько глав?

– Шестнадцать.

– А от Иоанна?

– Двадцать одна.

– А от Матфея?

– Двадцать восемь.

– Ну, ладно, это-то ты знаешь.

Вениамин (Казанский, 1873–1922), митрополит Петроградский и Гдовский. Арестован в 1922 г. в ходе кампании по изъятию церковных ценностей и расстрелян. Прославлен в 1992 г. в лике новомучеников.

– Дедушка! – говорим мы потом. – Ты знаешь, кого ты спрашивал? Ведь это ректор. – Да ну? Что же вы мне тогда не сказали. Поохотали мы тогда.

– Подождите-ка, отец Владимир, – остановил отец Сергей Аристовского, заметив, что тот поднялся, собираясь уезжать. – Что это за Гавриша у вас там завелся? Наши женщины что-то о нем много толковать начали. А мне он подозрителен.

– И мне тоже, – ответил отец Владимир, снова садясь. – И ведь он не только появился, а давно у нас, гораздо раньше меня. Я его и так и этак прощупывал – не поддается. В церковь ходит аккуратнее всех. Крест кладет не хуже Муромца, по-писаному, а поклон кладет по-ученому. Посмотреть издали – самый добропорядочный прихожанин. А по кое-каким мелочам чувствую – самый настоящий хлыст¹¹. Эти хлысты ведь тем и отличаются, что церковные обряды выполняют, чтобы их не подозревали. А не придерешься, изворотливый, как уж. Собрания у него какие-то. И из других сел приезжают. Вот видите, и до ваших добрался. Спрашивал я этих собиральщиков, говорят, ничего особенного, Писание им объясняет, канты поют. А как объясняет и что поют, толком рассказать не сумели. Да и то сказать – если их только завлекают, им хлысты и самим лишнего не покажут, все будет только «от Писания». А если они много знают, то связаны всякими клятвами и ничего не скажут. Вы за своими хорошенько следите. Ну, прощайте, отцы! Вам хорошо, недалеко ехать, а моему Карему придется потрудиться.

Глава 8 Искушения

– Ах!

Нужно же было матушке, собираясь в гости, бросить на комод футляр от брошки! Нужно же было черноглазой бойкой Варе найти его и принести туда, где сидели Соня и вторая нянька Анюта! Если бы футляр не лежал на виду, много спокойнее было бы на душе у

¹¹ Хлысты – религиозная секта (название от обряда самобичевания), возникшая в России в конце XVII в. Считают возможным прямое общение со «святым духом» через его воплощение в праведниках. Не признают священства, но допускают посещение православных богослужений.

девочек в этот вечер. Рассматриванием футляра занялись все, даже тихая Анюта не вытерпела и повертела его в руках. Осмотрели внутри и снаружи, потрогали замок, закрыли... а открыть не смогли. Старшие девочки неудачно попробовали несколько раз, потом Анюта протянула футляр Соне:

– Соня, открой!

Соне не хотелось признаться, что она не знает, как взяться за дело. Она неловко подергала крышку, просунула сначала ноготок, а потом и весь пальчик в увеличившуюся щелку в уголке.

– Сильнее! – поощрила Варя.

И вот тут-то дружное «ах!» вырвалось у всех трех: крышка открылась, и тоненькая проволочка со звоном упала на стол. Белая атласная обивка крышки некрасиво оттопырилась.

– Ах, Соня, что ты наделала!

Соня-то Соня, а все-таки у обеих старших девочек было беспокойно на душе. Им самим было ясно, что они, четырнадцатилетние, должны были бы удерживать пятилетнюю Соню, а не подбивать ее на шалость. Попытались исправить дело. Кому-то удалось вставить проволочку на старое место так, чтобы она не вываливалась сразу. Футляр осторожно отнесли на комод.

– Может быть, матушка не заметит! Но она заметила. Утром Соня вдруг услышала давно ожидаемый и все-таки как будто неожиданный вопрос:

– Соня, ты не знаешь, кто сломал футляр от брошки?

Если бы не было вчерашних волнений и попыток скрыть «преступление», вырастивших его в Сониных глазах во что-то чудовищное и перепутавших ее маленькие нравственные понятия, она, вероятно, хоть и с тяжелым сердцем, созналась бы. Но теперь она вспыхнула, зачем-то закрутила уголок настольной клеенки и неожиданно для себя ответила, глядя в дальний угол:

– Варя.

Мама как-то странно посмотрела на нее и ничего не сказала. Она возобновила разговор уже после обеда, когда сидела в своем уголке у стола и штопала чулки, а Соня пристроилась около нее с рисованием. На этот раз вопрос прозвучал действительно неожиданно:

– Так кто же сломал футляр?

Случайно или намеренно, мама задала этот вопрос, когда Варя мыла пол в столовой. Соня покраснела еще сильнее, чем в первый раз, и ответила чуть слышно:

– Анюта.

– Анюта? – переспросила мама. – А в прошлый раз ты сказала: Варя. Так кто же все-таки? Варя или Анюта? Или, может быть, еще кто?

Соня молчала. Мама подождала несколько времени и переспросила настойчиво: «Ну, я жду?»

Молчание продолжалось долго, так долго, что Варя, что-то очень усердно вымывавшая грязь из всех щелочек под столом, вынуждена была кончить и уйти. И во все время мама не отрывала от девочки пытливого взгляда. Потом еще раз, еще настойчивее, повторила:

– Долго я буду ждать?

Казалось, невозможно было покраснеть больше, но теперь лицо Сони сделалось пунцовым. Она еще ниже опустила голову и прошептала: «Варя».

– Опять Варя? А не Анюта?

– Нет, Варя. Она принесла коробочку, а Анюта...

– Что Анюта? Молчание...

– Хуже всего тут, – заговорила опять мама, и голос ее задрожал, – хуже всего, что ты обманываешь. Ведь ты прекрасно знаешь, что я не накажу тебя, если ты сознаешься в том,

что сделала. А ты обманываешь, да еще сваливаешь вину на других. Хуже этого уж и придумать ничего нельзя. Я никогда бы не подумала, что ты можешь так сделать. И мне очень грустно.

И мама заплакала.

– Мапочка, прости, я больше не буду...

Стандартная фраза, которую столько раз повторяет каждый ребенок и так часто немедленно же забывает. Но сейчас в голосе девочки звучала безусловная искренность.

– Что не будешь? – спросила Евгения Викторовна.

– Обманывать... и вот так говорить.

Евгения Викторовна подняла за подбородок заплаканное личико и заглянула в глаза дочурки:

– Кто же сломал коробочку?

– Я... – Крупные слезы, покотившиеся из глаз Сони, заслонили весь мир, и она не видела, что у мамы слезы совершенно высохли. Нет, не высохли, ресницы были еще мокрые, но серые глаза ее уже сияли счастьем.

– Вот так и надо было сразу сказать. Ведь ты же понимаешь, что я всегда узнаю, если ты говоришь неправду.

(В сознании Сони это воспринималось так, что мама все знает и от нее ничего не скроешь.) Никогда нельзя обманывать. Разве тебе было бы приятно, если бы я побранила Варю за то, что сделала ты?

– Не-ет!

– Ну, хорошо. Теперь перестань плакать, поцелуй меня, и так договоримся, что ты всегда будешь говорить правду.

* * *

К сумеркам все было забыто. Евгения Викторовна сидела за работой и тихонько напевала несильным, мягким голоском:

В хижину бедную, Богом хранимую,
Скоро ль опять возвращусь.
Скоро ли мать расцелую родимую,
С добрым отцом обоймусь...
...Сколько, ко всякому горю привычная,
Мать моя слез пролила!
Если б отсюда она, горемычная.
Речь мою слышать могла.
Я б закричала, пускай не печалится,
Жизнь для меня не страшна.
Милая матушка, дочь твоя счастлива,
Крепко любима она.

Евгения Викторовна стеснялась петь при посторонних и при муже, но за работой, наедине (дети не считались), пела охотно. Некоторые вещи из своего репертуара она любила за красивую мелодию, другие за легкость исполнения, но «Хижину бедную» запевала только тогда, когда была в хорошем настроении. Последние строки, которые она повторяла два раза, звучали как выражение ее собственных чувств.

Соня сидела в уголке со своими делами и внимательно посматривала на мать. Наконец встала и, подойдя к Евгении Викторовне, облокотилась на ее колени:

- Мама, ты ведь меня простила?
 - Простила, – прервав пение, ответила та.
 - Совсем, совсем простила?
 - Ну, конечно, совсем. В чем дело, лисанька?
 - Расскажи стихи!
 - Какие?
 - Ну, всякие... и про дядюшку Якова, и про Ермила, и про этого, которого мальчик обманул.
 - Про Бэду?
 - Да, про него.
- Соня пододвинула стул вплотную к маминому и приготовилась слушать. Евгения Викторовна заговорила:

Был вечер. В одежде, измятой ветрами,
Пустынной тропой шел Бэда слепой.
На мальчика он опирался рукой,
По камням ступая босыми ногами.
И было все глухо и дико кругом;
Одни только сосны росли вековые.
Одни только скалы торчали седые,
Косматым и влажным покрытые мхом.
Но мальчик устал: ягод свежих отведать,
Иль просто слепца он хотел обмануть...
– Старик, – он сказал, – я пойду отдохнуть,
А ты, если хочешь, начни проповедать.
С вершин увидали тебя пастухи,
Какие-то старцы стоят у дороги.
Вот жены с детьми... Говори им о Боге,
О Сыне, Распятом за наши грехи.
И старца лицо просияло мгновенно,
Как ключ, пробивающий каменный слой,
Из уст его бледных живою волной
Высокая речь потекла вдохновенно.
Без веры таких не бывает речей,
Казалось, слепцу в славе небо являлось.
Дрожащая к небу рука поднималась,
И слезы текли из потухших очей.
Но вот уж померкла заря золотая,
И месяца луч бледный в горы проник.
В ущелье повеяла сырость ночная;
И вот, проповедавая, слышит старик.
Зовет его мальчик, смеясь и толкая:
– Довольно, пойдем, никого уже нет!
Замолк грустно старец, главой поникая.
И только замолк, как от края до края
– Аминь! – ему грянули камни в ответ.

– Мама, камни его пожалели? – спросила Соня. – Мне этого старичка жалко. А мальчик плохой, зачем он его обманул?

– Да, видишь, как получается, мальчик даже и не подумал, что выйдет. Он только хотел поесть ягод, а старик ему поверил, а потом огорчился: он думал, что люди здесь правда были и ушли, не захотели его слушать. Вот как плохо обманывать! Соня спрятала личико в шаль мамы.

– Расскажи лучше про дядюшку Якова, – дипломатично попросила она.

Едва ли кто из читателей Некрасова полагает, что «Дядюшка Яков» наводит на печальные мысли, но с Соней было не так. Во-первых, она немного жалела Кузю, которому так хотелось и жаль было съесть пряничного коня, а во-вторых, грустно было слушать о сиротке Феклуше. С приближением момента, когда Феклуша грустно смотрела на жующих лакомства детей, Соня потихоньку спускалась под стол, место, где так хорошо уединяться со своими горестями. Слезинки на глазах Феклуши при виде книжек тоже побуждали ее сползать со стула, но она сдерживалась, жадно ожидая благополучного окончания.

Дело дошло до Ермилы Гирина, когда в зале, где работал отец Сергей, послышался приятный голосок Анюты:

– Батюшка, к тебе какие-то пришли. Не нашенские.

– А кто все-таки?

– Мужики какие-то. Откуда, не сказываются, а видать, кулугуры¹².

– Ну, зови.

Вошли три человека, уже немолодые, в которых действительно сразу же можно было узнать старообрядцев, притом или очень строгих, или специально приодевшихся для посещения. Они были одеты так, как большинство одевается только собираясь в моленную¹³: синие суконные поддевки со множеством мелких сборок на талии и такие же шаровары, заправленные в сапоги. Подстриженные в кружок волосы и окладистые бороды были тщательно приглажены. Они быстро оглядели комнату, задержав взгляд на иконах, но не перекрестились, как православные, и не подошли под благословение, а чинно и степенно поклонились в пояс.

– Доброго здоровья, Сергей Евгениевич! – сказал один из них, намеренно не называя отца Сергия батюшкой.

– Здравствуйте. Садитесь.

С той же подчеркнутой степенностью гости взяли стулья и уселись поближе к столу. На обычный вопрос: «Что скажете?» – не заговорили о деле, а начали беседу об осеннем урожае, о том, когда встала Волга, какая в поле дорога. Попутно выяснилось, что гости приехали из Федоровки, большого села на правом берегу Волги, прямо против Острой Луки. Отец Сергей с любопытством следил за посетителями: дело должно было быть серьезным и щекотливым, если начиналось с таких длинных предварительных переговоров, но деревенский этикет запрещал торопить гостя.

– А небогато вы живете, Сергей Евгениевич, – как будто мельком ввернул один из посетителей. – Хватает, – коротко ответил отец Сергей.

– Как хватает! Хватать-то может по-разному, – поддержал товарища второй.

– И с хлеба на квас люди перебиваются – хватает, а другие имеют все, что душе угодно. Мы своего духовного отца не так содержим. Тут тебе и балычок первосортный, и черная икорка, и диван бархатный, и ковры. Матушка бесперечь в шелковых сарафанах ходит. – Это какой же ваш духовный отец?

– Да вот отец Симиен был у нас в Хвалыне... По проезжающему священству мы¹⁴.

¹² Старообрядцы. – *Авт.*

¹³ Моленная – у старообрядцев: помещение без алтаря для молитвы и совершения богослужения.

¹⁴ Беглопоповцы, или, как они себя называют, «по проезжающему священству», не имея собственных архиереев, за большие деньги сманивали с приходов православных священников и прекрасно обеспечивали их, так как среди держащихся этого толка в Хвалынске, как и в других местах, были богатые купцы. Такой священник, разумеется, оставлял при-

– Недавно преставился. Разговор опять перешел на пустяки. – Мы о вас, Сергей Евгениевич, давно наслышаны, – снова начал тот, который заметно верховодил в разговоре. – Много хорошего о вас слышали.

– Что же хорошего видят старообрядцы в православном священнике?

– Как что? Службу правите не торопясь, по Уставу. Не пьете, табаком не занимаетесь. Кормчую книгу дониконовскую и другие старые книги хорошо знаете. Отец Сергей с недоумением взглянул на гостя. Что, собственно, им нужно? Не имея сейчас «духовного отца», приехали посоветоваться о допустимости какого-нибудь брака, как иногда делали соседние беспоповцы? Могли бы найти советчика поближе. Хотят предложить беседу с новым начетчиком? Зачем же так долго ходить вокруг да около?

– Собрались мы, как отец Симиен преставился, – как будто без связи продолжал гость, – и поручили нам старики поездить, поискать нового духовного отца. Вот мы и приехали...

– Что-о?!

– Предложить вам...

Отец Сергей резко повернулся на стуле. Его лицо залила густая, темная краска.

– Что же вы думаете, я за ваши диваны да балычки Христа продам?

– Напрасно вы такие слова говорите, Сергей Евгениевич. Христос – Он и у нас Христос. А насчет крестного знамения и насчет просфор вы сами сколько раз на беседах говорили, что можно и по-нашему молиться.

– Об этом говорил, конечно. Но и о том говорил, что вне Церкви нет спасения и что Церковь не может быть без правильно поставленного епископа. Что вы, гоняясь за мелочами, нарушили самое главное, единство церковное, отказались от послушания Церкви, забыв, что послушание паче поста и молитвы.

Теперь вступились все трое; завязался один из тех споров, которые так часто приходилось вести отцу Сергию. Только теперь острый спор было направлено на вопрос, может ли священник, не теряя благодати священства и чистоты совести, перейти в беглопоповство. А время от времени то один, то другой из спорщиков вставлял в богословский спор маленькое, коварное замечание о материальных благах, которыми пользуются их «духовные отцы». Если бы не это, отец Сергей, может быть, по обыкновению, увлекся бы и беседа затянулась бы надолго. Но сейчас было противно даже спорить.

– Вот что! – сказал он после одного из таких намеков. – Я, может быть, и пошел бы к вам, если бы с ума сошел или спился, но не иначе.

– Избави Бог, – сказал старообрядец и перекрестился. – Нам тоже таких не надо. Вот Андрей Петрович Букашкин из Теликовки, из благословленной¹⁵ церкви, вроде по обряду и ближе к нам, а мы к нему не поехали: водочкой балуется.

– А трезвые да честные к вам не пойдут!

Обе последние фразы отца Сергия были сказаны так, что всем стало ясно: разговор окончен. Посетители поднялись и стали прощаться.

– Простите, Христа ради! – сказал вожак.

Это была обычная по всей губернии, а пожалуй, чуть ли не во всей сельской России формула прощания, но отец Сергей ответил на нее по существу.

– Прощать ради Христа можно личные обиды, – сказал он, – а тем, кто ходит и соблазняет людей на отступничество, не простится ни в сем веке, ни в будущем!

Несколько времени спустя по округу распространилась поразившая всех новость: Букашкин¹⁶ ушел в беглые.

ход тайно – «бежал» и большую часть времени разъезжал по своим новым прихожанам, так как решающихся продать свою совесть всегда было немного, и «приходы» их занимали большие территории. Отсюда и происходят оба названия. – *Авт.*

¹⁵ Благословленная – единоверческая. – *Авт.*

¹⁶ Интересно, что единственный продавший свою совесть священник носил фамилию, которая может показаться наро-

Один из его прежних прихожан побывал даже у него на новом месте. «Матушка-то в будни в шелковом сарафане вышла, – рассказывал он. – Чудно на нее глядеть, в сарафане-то». Шелковые сарафаны сыграли-таки свою роль.

Глава 9 У двора

Вечером, когда солнце спускалось ниже колокольни и жара спадала, матушка выходила «ко двору» – посидеть на скамейке около палисадника. Скамейка была большая – целая широкая половая доска, положенная на такие же массивные, чуть не аршин в диаметре, обрубки дерева, но, случалось, и ее не хватало, опоздавшим приходилось размещаться на травке. Покончив домашние работы, подходили соседки, кто с вязаньем, кто с семечками, степенно выплывала кухарка, сбегались дети. Год за годом повторялись эти вечерние сборища. Сидела здесь Евгения Викторовна и в 1906 году, еще совсем юной матерью, вместе со свекром Евгением Егоровичем, любуясь первыми шагами Сони. Сидела и в 1918 году, тревожно наблюдая, как золотистый закат превращается в багровое зарево пожара – горит подожженное снарядами соседнее село Теликовка. В багровое пятно зарева врезаются острые языки пламени, поднимаются клубы дыма, и всем сидящим кажется, что они слышат треск падающих домов и крик людей.

До восемнадцатого года вечера, большею частью, были спокойны. Шли годы, взрослела молодежь, подрастали дети, менялись соседи, сослуживцы отца Сергея, а матушка все выходила по вечерам на скамеечку и разговаривала с соседками, не замечая, что и темы их разговоров тоже меняются, взрослеют.

В первые годы, когда приезжала из города молодежь, сидели недолго; на поросшей зеленой муравкой площади начинались игры: горелки, кошки-мышки, больше всего любили «макара».

Потом молодежь стала появляться реже: те на практике, те на кондиции, того тянет к невесте, те вышли замуж. И Евгению Викторовну уже не тянуло вмешаться в игру. Она с удовольствием сидела и наблюдала, как играют завладевшие площадью дети. Их собиралось вечером человек до двадцати, а то и больше. Как и раньше, отец Сергей выносил длинную веревку, часть играющих стояла, только поддерживая ее, а не держась за руки, в таком громадном кругу интереснее было бегать. Евгения Викторовна и ее собеседницы подходили посмотреть, когда в круг выходила самая интересная пара: четырехлетний Миша и его младшая подружка Катька Морозова. Им завязывали глаза, и они, почему-то пригнувшись, ходили по кругу. «Макар, Макар, где ты?» – особенно тоненьким голоском спрашивал Миша и, растопырив руки, торопился, часто совсем не в ту сторону, куда нужно. «Вот я!» – еще тоньше откликалась Катька, клубочком мелькая по кругу, пока не натыкалась на преследователя. Их приветствовали смехом и поощрительными возгласами.

Потом и дети вступили в такой возраст, когда хотелось бегать по всей площади, и не только по площади, но и между прилегающими рядами амбаров и на кладбище, где у многих из них появились родные могилки. Но в любом возрасте было приятно подсесть к взрослым, послушать их разговор, поддаться влиянию тихого вечера. В любом возрасте и в любой год, так же, как и тогда, когда Мише было всего полтора года и он, свернувшись клубочком, дремал на коленях у матери, а Костя и Соня, которой кончался шестой год, сидели и наблюдали.

Возвращаются с поля и из дальних садов запоздалые труженики, обмениваются приветствиями с сидящими. Солнце, большое и красное, опускается, распространяя кругом все

удлиняющиеся и удлиняющиеся лучи и наконец скрывается где-то за Волгой, за ее высоким правым берегом. Небо переливается тончайшими оттенками красок от ярко-золотого и пунцового до нежно-розового и золотисто-бирюзового. На этом фоне резко выделяются темные заволжские горы, а на самом высоком месте горы, как раз перед глазами, чернеет ветряная мельница; она совсем крошечная, но видна так отчетливо, что иногда можно заметить, как вертятся ее крылья. По ту сторону площади зеленеет примыкающий к ограде сад бабушки Матрены, а в ограде белеет церковь. Впрочем, она теперь не белая, а розовая и золотая, а стекла в окнах сверкают так, что больно смотреть. Около колокольни тихо реют голуби и снуют галки. Раздается чистый, звучный удар колокола; галки с возмущенными криками целой стаей срываются с крыши и кружат около колокольни.

Пригоняют стадо. Хозяйки уходят доить коров, потом снова возвращаются. Закат постепенно бледнеет, и на светло-янтарном небе загорается яркая вечерняя звезда, за ней другие. Иногда откуда-то выплывает темная туча, в ко торой время от времени вспыхивают молнии, то яркие и острые, от которых туча становится точно еще темнее, то скрытые, будто за рампой театра, – от таких туча вся мягко освещается. Глухо погромыхивает гром, и от этого делается словно еще уютнее.

Но что бы ни делалось на небе, земля занята своим. Сильнее начинают благоухать цветы. В саду робко пробует силы соловей, ему ответил другой, в яблонях около кладбища, потом третий... Кое-где, сначала так же робко, как соловьи, а потом все смелее и смелее запевают девушки. На озере, куда выходят огороды ограничивающей площадь улицы, квакают лягушки. Они то немного стихают, точно аккомпанируя или прислушиваясь к руладам очередной искусницы, выводящей пронзительную трель, то вдруг поднимают такой шум, что заглушают тихие голоса людей, а в это время хочется говорить только тихо.

Когда сумерки сгущаются, на стойку¹⁷, расположенную на краю площади, рядом со школой, взбирается «стойщик» и, устроившись поудобнее, выстукивает палкой по деревянным сплошным перилам. Стучит четко, красиво, ловко работая обоими концами недлинной палки, которую держит за середину. Не хуже барабанщика в оркестре из разнообразных ночных звуков. Он так и будет стучать всю ночь, чтобы люди знали, что он бодрствует, когда они спят, а спать под его стук так же приятно, как под шум дождя или вот под неугомонное кваканье лягушек...

Компания постепенно редет. Женщины расходятся по домам и уводят детей.

– Пора ужинать, – говорит наконец и Евгения Викторовна.

Глава 10

Кузьма

1911 г.

Во время ужина пришел гость – Кузьма Ливочкин.

Кузьма был еще довольно молодой чернобородый мужик. Пожалуй, его можно было бы назвать красивым, если бы не неприятно бегающие глаза и судорожно подергивающиеся пальцы. Кузьма страдал эпилепсией. Он не был так близок к отцу Сергию, как Николай Собашников, Никита Амелин или Сергей Прохоров, но пел на клиросе и заходил к батюшке домой достаточно часто для того, чтобы его позднее посещение никого не удивило.

– А, Кузьма! Присаживайся к столу, будем ужинать, – приветствовал гостя отец Сергей.

¹⁷ Пожарную каланчу. – *Авт.*

Матушка подвинула ближе к себе высокий стульчик, на котором сидел Костя, старательно вылавливавший пальцами клецки из блюдечка с супом. Соня тоже подвинулась ближе к брату (маленький Миша уже спал), и между ней и отцом образовалось свободное место. Кузьма отрицательно покачал головой.

– Нет, спаси Христос, не хочу, сейчас поужинал. – Кузьма сел в углу стола так, чтобы быть недалеко от отца Сергия и в то же время вроде и не за столом.

– А я к тебе, батюшка, пришел от Писания поговорить. Спросить кой о чем нужно.

– Ну, говори, что за затруднения?

Кузьма задал несколько незначительных вопросов. Вошла кухарка Агаша, принесла жареную картошку и взяла миску с супом. Кузьма немного помолчал, потом заговорил снова.

– Вот тут еще насчет моего имени удивительное дело. Где пишут «Кузьма», а где «Косьма», а где «Косьмы».

– Ничего удивительного нет, – сказал отец Сергий, накладывая в тарелку пропитанную сметаной картошку. – Кузьма – это по-русски, Косьма – по-славянски, а Косьмы...

Кузьма вдруг поднялся, с треском отодвинул стул. Его глаза сделались сумасшедшими, бледные щеки подергивались.

– Как нет ничего удивительного! – закричал он. – Я тебе покажу, как нет удивительного!

– Успокойся, Кузьма! – Отец Сергий тоже начал было подниматься, но Кузьма с криком «Я тебе покажу» бросился к нему и снова повалил на стул, стараясь схватить за горло. Длинные волосы священника помешали ему, Кузьма с бешенством отдернул их. В это время отец Сергий схватил его снизу за руки.

Отцу Сергию было двадцать восемь лет. Он был хотя слабее Кузьмы, однако достаточно силен, чтобы сопротивляться. Но Кузьма застал его врасплох и прижал в тесный угол между двумя стенами и столом в самой неудобной позе. Все-таки он боролся, не допуская руки противника до своей шеи. «Только бы не догадался схватить со стола нож или вилку», – думал он.

При первом угрожающем движении Кузьмы матушка вскочила с места. «Соня, беги!» – крикнула она и сама, схватив Костю, выбежала так стремительно, что детский стульчик потащился за ней и отлетел только на середине залы. Вихрем ворвавшись в кухню, матушка крикнула:

– Кузьма душит батюшку. Агаша, беги за народом. Варя, Надя, займитесь с детьми. Запритесь на крючок!

Прекрасный день сменился такой же прекрасной ночью. Тонкий серп месяца, спустившийся ниже колокольни, почти к самому горизонту, освещал все слабым, бледным светом, не поглощающим мерцание звезд. От обильно смоченной росой травы на площади пахло свежестью; легкий ветерок доносил с лугов аромат цветов и чуть заметный запах сырости. В садах по-прежнему робко шелкали несмелые соловьи, зато еще громче и самозабвеннее, чем раньше, словно стараясь перекрычать од на другую, квакали лягушки, а вдали редко и размеренно ухала выпь. В разных концах села девические голоса выводили песни; издали казалось стройным и красивым, под стать лунной весенней ночи. Четкая, искусная дробь стойщика вплеталась в ночные звуки и казалась такой же необходимой в этой мирной обстановке, как кваканье лягушек и песни девушек.

И вдруг тишину нарушил дикий крик. Через полминуты другой, на этот раз женский, голос пронзительно и испуганно закричал: «Караул!» Это, распахнув окно из залы на улицу, с неизвестно откуда взявшейся силой кричала тихая, никогда не возвышающая голоса матушка.

Первым прибежал ближайший сосед, диакон. Схватив на всякий случай железный шкворень, которым запирались ворота, он вбежал во двор, чуть не налетев на только что выскочившую Агашу.

– Что там такое? – глухим, хриловатым баском спросил он. На улице слышались встревоженные мужские голоса. Раздались шаги на крыльце. Еще раз хлопнула калитка. Кузьма неожиданно оставил отца Сергея и глубоко вздохнул.

– Батюшка, я хотел попросить тебя, сыграй мне «Херувимскую», – сказал он.

Когда подросевший на помощь народ вбежал в дом, растрепанный, запыхавшийся отец Сергей сидел за фисгармонией и играл «Херувимскую», а такой же запыхавшийся Кузьма стоял у двери в столовую и казался совершенно спокойным. Только пальцы его подергивались сильнее, чем обычно.

* * *

Около семи лет Кузьма Бешеный служил постоянной угрозой для отца Сергея и причиной постоянных тревог Евгении Викторовны. В первые годы отец Сергей пытался было добиться помещения Кузьмы в сумасшедший дом. Он посылал подтвержденные показаниями свидетелей ходатайства, хранил даже, в качестве вещественного доказательства, большой комок волос, вырванных у него во время борьбы, но безуспешно. Припадки буйства, следовавшие непосредственно за эпилептическими припадками, быстро проходили, и, когда родственники довозили Кузьму до Самары, он был уже вполне нормальным, и в психбольницу его не принимали. Благодаря кратковременности этих приступов, некоторые подозревали Кузьму в притворстве, но те, кто хоть раз видел его в это время и кто пробовал бороться с ним, – не сомневались, что тут не симуляция, а действительные кратковременные припадки сумасшествия с определенной манией – убить батюшку. Приходя в себя, Кузьма и сам страдал от этого и не раз, встретив отца Сергея на улице, просил у него прощения. Никто не мешал в таких случаях их разговору, никто не слышал, о чем они говорят, остановившись среди дороги, но на улице сразу же появлялись кучки мужиков. Они рассаживались на лавочках и бревнах около ближайших домов, останавливались, разговаривая между собой, и рассеивались только тогда, когда Кузьма и отец Сергей благополучно расходились. Нельзя было предусмотреть времени наступления припадков; иногда между ними проходил довольно значительный промежуток, иногда они следовали один за другим. Поэтому дом отца Сергея все время находился как бы на осадном положении. С детьми нельзя было всегда запираť двери, но калитка постоянно запиралась, и от нее – небывалое дело в селе – через двор к сеним тянулась проволока звонка. Детей и их приятелей, целыми днями сновавших взад-вперед, это не затрудняло: они ныряли то в высокую подворотню, то в специально для них сделанную щель между досками сарая. (Сарай выходил стеной на задний двор, и щель не бросалась в глаза лишним людям. Да и ширина ее была вполне достаточна для подростка, но слишком узка для взрослого.)

Подросши немного, Соня и Миша стали пренебрегать этими, слишком примитивными средствами сообщения и предпочитали перебираться прямо через крышу сарая: сначала на стоящий у сарая рыдван, плетюшку, кучу хвороста или несколько косо приставленных жердей, оттуда на крышу, а с крыши на высокий плетень заднего двора. Прежний выход, через щель и приоткрытые плетеные ворота на огород, оставался в распоряжении Кости, слабые руки которого лет до десяти или одиннадцати не позволяли ему взбираться на крышу. Да и после это было ему нелегко.

Случалось, спокойный период затягивался. Тогда бдительность не только детей, но и взрослых ослабевала и калитка иногда стояла отворенной. Поэтому лишь только у Кузьмы начинался эпилептический припадок, его жена, тоже жившая в постоянной тревоге и за других, и за себя, оповещала соседей, и кто-нибудь бежал предупредить «батюшкиных». По пути предупреждали всех встречных, кое-кому стучали под окно, и, лишь только Кузьма выходил из дому и направлялся к площади, его перенимали, уговаривали или связывали,

смотря по его состоянию. Случалось даже, если он чересчур буйствовал, запирали в жегулевку – маленький бревенчатый сарайчик около пожарки, предназначенный для случайных нарушителей общественного спокойствия.

Однажды, когда припадок бешенства был особенно силен, Кузьма ухитрился сбежать из жегулевки. Он подкопался под стенку и с ножом в руках забрался в подворотню на двор батюшки. Находившиеся в доме пережили неприятные минуты, когда их отделяло от вооруженного сумасшедшего только оконное стекло. Неизвестно, почему Кузьма не разбил его, может быть, потому, что на колокольне уже били всполох и к запертым воротам сбежалась целая толпа. Нападающий сам оказался в положении осажденного, но взять его было нельзя; не лезть же на его глазах в подворотню. После долгих попыток уговорить его сдаться добром, в то время, когда толпа, отвлекая его внимание, продолжала переговоры, двое здоровых парней перелезли через сарай в недоступном его взгляду уголке за кухней и, неожиданно набросившись сзади, вырвали у него нож. После того толпа хлынула в отпертые ворота, и продолжавший отчаянно сопротивляться Кузьма был смят и связан.

Приступы буйства продолжались до весны 1918 года, когда Кузьма, по обещанию, сходил пешком за сто двадцать верст к явленной Родниковской иконе Божией Матери. По возвращении его эпилептические припадки не прекратились, но после них он делался слабым, разбитым, даже глуповатым и совершенно перестал быть опасным для окружающих. Еще через несколько лет он опять начал после припадков ходить по людям, чаще всего к своему прежнему товарищу – певчому, Никите Ивановичу Амелину, но к этому времени прозвище «Бешеный» и вызвавшие его поступки почти забылись. На Кузьму смотрели уж как на смешного и надоедливого болтуна, у которого «не все дома».

Глава 11

Ураган

1910 г. Пасха 18/IV или 1913 г. Пасха 14/IV

В деревенской хронологии, отмечающей время не годами, а событиями, 1913 год запомнился по пронесшемуся весной урагану. Ветер, все усиливаясь, дул в течение нескольких дней и на второй или третий день Пасхи достиг наибольшей силы. Никогда во время сильных бурь так бешено не стучали и не скрипели ставни, не гнулись и не шатались деревья, только недавно покрывшиеся молодой листвой. Сколько было оторвано веток, сколько поломано деревьев и в лесу, и в садах! Шум ветра будил даже детей, а взрослые то беспокойно дремали, то опять поднимались, заглядывая в темные окна и прислушиваясь к тому, что творилось снаружи.

Ураган разметывал стога прошлогодней соломы на гумнах, срывал крыши с домов, далеко унося оторванные доски; на окраине села подняло со столбов вновь выстроенную избу, под которую не успели подвести фундамент, и целиком поставило ее рядом на землю.

Начиналось половодье. Волжская вода, заполнившая русло маленькой речки Чагры и разлившаяся по лугам, клочкотала и пенилась. Волны далеко захлестывали покрытую молодой травой равнину и с шумом и ревом обрушивались на преграждавшую им путь острую косу, давшую название селу «Острая Лука». В более широкой, южной части косы еще продолжалась одна из улиц, вернее, начиналась, так как село основывалось именно здесь, на косе. Ближе к северу от улицы оставался только один «порядок», перерезанная дорогой лужайка перед окнами и крутой обрыв до самой воды. Еще севернее домов уже не было. Там, на клочке земли, соединенном с селом узким перешейком, в разгаре половодья скрывавшимся под водой, сохранились только гумна да остатки двух-трех садов. Каждую весну

вода подтачивала косу, подмывая ее берега и с особенной силой обрушиваясь на маленький островок, но ни один год она не принимала столько разрушений, как в этот раз, объединившись с ураганом.

Но было одно место, где стихии бушевали еще яростней. Это там, около деревни Дураковки, ближние дома которой виднелись по ту сторону Чагры примерно в версте от косы, а дальние отделялись от соседнего села Березовая Лука только Чагрой да узкой полоской берега. Да и то этот поросший репьями низменный берег был только со стороны Березовой Луки. Со стороны Дураковки окаймленная тальником Чагра проходила прямо под крутым берегом, на котором стояли дома. Летом в этом месте в Чагре было воробью по колено, дети переходили ее вброд, зато в разгар половодья едва виднелись верхушки высоких осокорей, группами, по три-пять штук, разбросанных по низине, а от крутых яров, обрывавших улицы обоих сел, оставалась только узкая кромка, да и то не всегда.

Сейчас осокори были залиты примерно до половины, незалитая часть берега тоже была еще довольно высока, и в получившейся трубе ураган свирепствовал больше, чем где-нибудь.

Невесело встречали Пасху жители Березовой Луки и Дураковки, привыкшие держаться заодно, как два конца одного села. Они перероднились между собой и по праздникам веселились все вместе, переходя от одних родственников к другим. Ураган разбил дружные компании, веселье не ладилося, не хватало оставшихся на другом берегу.

Именно эта привычка проводить пасхальные дни вместе с близкими явилась причиной того, что во второй половине дня семнадцатого апреля, когда ураган на короткое время ослабел, от крутого западного берега, от Дураковки, отвалила лодка. Среди ее пассажиров была даже одна молодая женщина, родители которой жили в Березовой Луке. Конечно, у всех этих смельчаков уже порядочно шумело в голове, чем и подогревалось их удалство. Более трезвые, в том числе муж молодой женщины, пытались отговорить их от безрассудной попытки, но в ответ раздались только насмешки. «Мужики, а хуже бабы», – донеслось с отплывавшей лодки.

Вероятно, хмель вылетел из многих голов, едва они отъехали от берега с десятков метров, вероятно, отплывшим сразу же захотелось вернуться, но это было уже невозможно: повернуть лодку, поставив ее боком к волнам, значило наверняка погубить себя. Слабая, почти незаметная надежда оставалась только в том случае, если им удастся двигаться к противоположному берегу, держа лодку поперек волн, обгоняя их и не давая захлестнуть лодку сзади. И, нужно отдать справедливость, они боролись мужественно и упорно; одни напряженно гребли, работая по двое каждым веслом, другие подгребали досками, заменявшими сиденья, и тяжелая рыбацкая лодка шла почти так, как требовалось. Может быть, людям и удалось бы спастись, если бы среди воды не встретила группа деревьев. Около таких преград волны бушевали особенно сильно, создавая водовороты. Свернуть было невозможно. Лодку несло прямо на деревья, ударило, прижало боком к стволам, опрокинуло. Люди окунулись в воду, потом ухватились за толстые, раскачивающиеся ветви, взобрались на них. Стоящим на берегу было видно: выбрались все.

Погибавшие судорожно цеплялись за ветки, волны то и дело окатывали их, ветер пронизывал, леденил. Несомненно, они кричали, прося о помощи, но за шумом ветра и воды их не было слышно. Кто-то попробовал было помахать рукой, но чуть не сорвался и опять ухватился за ветки. На берегах и так понимали, что нужна помощь, но оказать ее не могли. Если невозможно было просто переехать через бушующую реку, то в десять раз труднее, в десять раз невозможнее подплыть к определенной цели, да еще такой опасной, как деревья, взять людей и вернуться обратно. Об этом нечего было даже и думать.

Толпа на обоих берегах все увеличивалась. О катастрофе знали уже оба села.

Вдруг дружный крик вырвался у стоявших. Женщины запричитали, многие из мужчин сняли шапки и перекрестились: один из погибавших упал с дерева и пошел на дно. Должно быть, окоченели руки, и он не мог дальше держаться. Народ до полной темноты стоял на берегу, с ужасом наблюдая, как срывался то один, то другой.

Утром на ветках, почти залитых прибывшей за ночь водой, оставалось только двое или трое. Потом и они свалились. Дольше всех держалась женщина. Наконец и она, обессилив, упала головой в воду, но труп ее оставался все на том же месте, не тонул и не отплывал. Когда ураган пролетел и люди, выехавшие искать утонувших, подплыли к осокорю, оказалось, что она привязалась к дереву большой переливчатой шелковой шалью, бывшей у нее на голове. Мало того, в минуту грозной опасности она не забыла о стыдливости. Трудно представить, каких усилий стоило ей развязать тонкий, скрученный из разноцветной шерсти пояс, поддерживающий юбки. Все-таки она его развязала и притянула им юбки снизу, чтобы ветер не отдувал их.

Ураган не остановил в Острой Луке обычного праздничного хождения по домам «с Пасхой», хотя все: и духовенство, и мальчики-певчие – доходили при этом до изнеможения. Отец Сергей под конец совершенно охрип и после еще с неделю высидел дома, у него оказалась жесточайшая ангина. Ангиной он болел ежегодно, иногда несколько раз в год, и ни он сам, ни Евгения Викторовна не обращали на это серьезного внимания. Он переносил болезнь на ногах и чувствовал бы себя здоровым, если бы не опухоль в горле, мешавшая глотать и говорить. Больному приходилось сначала отказаться от твердой пищи, потом он не мог проглотить даже ложечки воды и объяснялся знаками. Самочувствие при этом оставалось нормальным, и отец Сергей использовал свободное время, данное ему невозможностью служить и общаться с народом, для работы за письменным столом, готовя очередные статьи в «Епархиальные Ведомости».

Утомившись, он подсаживался на пол к детям, и начинались игры. Детям они казались особенно интересными, потому что рядом с папой лежала аспидная доска, и он не говорил, а писал.

Нарыв прорывался иногда ночью. Отец Сергей прополаскивал горло подогретой на спиртовке водой и говорил проснувшейся жене: «Теперь давай есть!» И никому, даже опытному соседнему фельдшеру, хорошо знавшему отца Сергея, не приходило в голову, что ангина может иметь более серьезные последствия, чем временная потеря голоса и вынужденное голодание в течение нескольких дней.

Глава 12

Молебствие о дожде

1911–1912 гг.

Стояла засушливая весна. Проснувшись утром, каждый взрослый житель села, прежде всего, выходил и смотрел на небо, нет ли туч. Но туч не было, солнце жгло как в июле, всходы в полях и на огородах поблекли, ох и надо бы дождя!

В один из этих знойных дней к отцу Сергию, возившемуся в сарае с ремонтом ульев, пришли сразу несколько посетителей – церковный староста с тремя попечителями. Они поздоровались, уселись кто на поваленном улье, кто на опрокинутой пудовке для зерна или чурбане для рубки дров (зачем в комнату идти, здесь вольготнее) и, поговорив, сколько требовало приличия, о посторонних предметах, приступили к делу.

– Батюшка, мы до вашей милости, – начал староста. – Мы вот со стариками толковали. Дождя бы надо, вон какая жара, хлеба вертеть начало. Вроде пора бы поднять знамена.

– Дело доброе, – согласился отец Сергей. – Когда думаете?
– Да вот, сегодня пятница... В воскресенье после обедни объявил бы ты народу, в понедельник пусть соберутся с необходимыми делами, а во вторник можно бы и идти.
– Во вторник так во вторник.
На том и порешили.

Обыкновенно молебствовать начинают с кладбища. Остановившись на зеленой лужайке посреди его, служат коротенькую литию – точно призывая умерших присоединиться к молитвам живых, – и первый молебен о дожде. Потом выходят из села на запад и обходят поля на юго-западной стороне за озером Язев. На второй день обходят восток и юго-восток. На запад, до Волги, расстилаются заливные луга, кустарники и мелколесье, туда ходить нечего, а на севере, почти к самому селу подходят земли Березовой Луки. Старики не забывают, почему так вышло. Во всем виноват горлопан Молек, его потомок Никон Моляко до сих пор живет в селе и вместе со своими взрослыми сыновьями много лет почти беспрерывно работает стойщиком (пожарником). Люди нет-нет да и вспомнят: от их дедушки все получилось.

«Получилось» это в начале шестидесятых годов прошлого века, после земельной реформы. «Чагра», то есть Острая и Березовая Лука, Дубовое и Теликовка, никогда не были барскими, хотя их и окружали помещичьи земли. В соседних приволжских садах даже после революции еще стояли усадьбы помещиков Протопопова, Пустошкина, Соплякова, Скорпачева, Баумгартена, Самарина, Медема. Однако передел земли коснулся всех. Приехал землемер и начал расхаживать по полям, замерять, составлять планы. Остролукцы тогда неплохо сообразили, пообещали ему кругленькую сумму, если он хорошо наделит их землей, он и постарался, и луга, и лес, и пашни, все лучшие земли во все стороны от села достались им. Уж и документы на руки получили, пришло время расплачиваться, а тут этот Молек и зашумел на сходке – нечего, дескать, землемеру деньги зря отдавать, и так все сделано по хорошему, лучше пропить. Ну, у него, конечно, дружки нашлись, всех перекричали, пропили денежки. Приехал землемер, а ему на сходке нос показали. Он, говорят, даже заплакал, перед всем народом порвал на себе в клочья рубашку и пообещал: «Так и с вашей землей будет». Поехал в Самару и заявил, что в Березоволукской волости ошибка вышла, нужно заново переделить. Ну и переделил! Нарезал кусков где-то в Топориках да в других дальних углах, за пятнадцать – двадцать верст, под самой Брыковкой да Теликовкой; да неудобие – большой овраг Штану в счет положил. А заливные луга, какие только можно было отрезать, чуть не под самые окна села, все к Березовой отошли. До сих пор поперек этих лугов канава проходит, пополам их делит, как в первый раз было намечено, а сами луга – чужие. И по склону увала, что их окружает, березовские сады к самой островской лесопилке подходят.

А на северо-восточный угол полей, туда, где сначала все было островское, а теперь клиньями сошлись и островские, и березовские, и дубовские земли, только во время самой сильной засухи сходятся крестные ходы из всех трех сел, и здесь служит общий молебен.

Стоит расшевелить стариков, они и о другой «услуге» Моляка с товарищами рассказывают, как те церковь пропили. Еще на сколько-то лет раньше задумали чагринцы строить церковь, одну на несколько деревень. Острая Лука была в центре этих деревень, там и решили строить. Целую весну съезжался туда народ со всей округи, все свободное время отдавали, кирпичи делали. Старики рассказывали, сами они ребятишками в тех ямах играли, из которых глину да песок для кирпичей брали. А тут березовские собрали деньжонок да на сход. «Так и так, столько-то ведер водки поставим, только дайте согласие церковь у нас строить». Ну, Молек со своими горлопанами и рады стараться: такой крик подняли, составили мирской приговор, сами и кирпичи в Березовую перевезли. Уж лет пятьдесят спустя в Острой построили церковь, да и то огоревали деревянную.

Зато сейчас любят и чтут островцы свою церковь, стоят в ней чинно, внимательно, без разговоров, без перешептываний. Целую бурю негодования вызвала одна легкомысленная бабенка, которая, возвратившись из церкви, начала рассказывать, что баушка Матрена была там в таких-то вот новых рукавах.

– Что ты, чужие наряды пересуживать в церковь ходишь? – возмущались соседки. Во всем господствовал строгий, благоговейный порядок, и сейчас трудно было определить, что поддерживается вековым, от дедов переданным обычаем и что является следствием слаженной работы нескольких поколений священников. Только кое-что, о чем разговор велся еще недавно, а может быть, и сейчас ведется, с точностью можно называть батюшкиными трудами. Вот, например, каждую весну и осень ему приходится говорить о кашле в церкви. Особенно весной, когда кругом тает, проваливается снег на дорожках, а иногда целые улицы и вся площадь превращаются в сплошное месиво из рыхлого снега и ледяной воды. Молящиеся, особенно женщины, в это время приходят в церковь с мокрыми ногами, и, хотя более заботливые приносят под мышкой валенки и переобуваются, все-таки кашляет большинство. И батюшка не забывает напомнить, что с этим можно и нужно бороться.

– Часто люди начинают откашливаться, чуть только почувствуют легкую неловкость в горле, – обыкновенно после службы говорил он. – Откашливались, и ладно, не думают, что этим мешают богослужению. А даже самый кашель действует на других, сейчас же и у других в горле запершит. Не успеют прокашляться эти, как начинают новые, и подчас поднимается такой шум, что заглушает не только чтение, а и пение. А стоило бы первым сдержаться, и этого беспорядка не было бы. Сдержать же кашель можно во многих случаях. А если кто и не сможет удержаться, то все-таки он закашляется один. Правда, бывает иногда и такой кашель, что человек захлебывается и не может ни сдержать, ни остановить его. Тогда уж лучше выйти из церкви и войти опять, когда кончится приступ.

Зато уж, кроме кашля, в церкви никакого шума. Разве ребята, занимающие места у самого амвона, зашепчутся, а то исподтишка и толкнут один другого. Но и они сразу затихают, стоит кому-нибудь из стоящих на клиросе оглянуться, тем более погрозить пальцем.

Как и везде в селах, в Острой Луке мужчины и женщины стоят отдельно, хотя делятся не совсем так, как обычно, – справа мужчины, а слева женщины. В Острой Луке мужчины занимают не только правую сторону, а и передние ряды на левой; зато вся задняя часть церкви со стоящими у стены скамейками принадлежит старухам. Этот порядок соблюдается и тогда, когда за утреней прикладываются к Евангелию или к иконе праздника. Идут сначала с правого клироса, потом с левого; потом двигается первый ряд справа, за ним второй, третий... Когда проходят все мужчины справа, в таком же порядке идет левая сторона, а после всех смиренно и неторопливо подходят старушки. Во время причастия тот же порядок, только вперед пропускают женщин с маленькими детьми, а за ними – детей школьного возраста. Ни давки, ни толкотни, очередь перед аналоем небольшая, от силы человек пятнадцать – двадцать; по мере того, как они отходят на свои прежние места, к аналою подходят следующие по порядку. Лишь изредка забежит вперед какая-нибудь одинокая хозяйка, которая торопится домой, чтобы убрать скотину, испечь печь и к обедне прийти не очень поздно.

Поют в Острой Луке не торопясь, но и не растягивая намеренно, как раскольники и многие городские хоры. Пение исключительно гласовое, такое, которое принято называть простым. Называя так, забывают, что музыкально образованным певчим шикарных городских хоров только в исключительных случаях удается достичь такой молитвенной простоты, такого четкого соединения чувств и мелодии. Остролукские певчие, особенно те, которые посещали спевки на квартире отца Сергия, и теперь еще время от времени заходят к нему попрактиковаться и спросить совета. Возглавляет их псаломщик, а иногда во время вечерни или утрени, особенно в небольшие праздники, когда на клиросе не хватает голосов, и сам

отец Сергей выходит из алтаря и помогает петь стихиры. И стало традицией, что он сам читает канон на Благовещение, а Великим постом, стоя перед престолом один, наизусть, поет: «Да исправится молитва моя», тем напевом, каким пели в его время в семинарии.

Одно время пригласили было регента, учителя Павла Афанасьевича. Но он страдал профессиональной болезнью регентов – страстью к вычурным нотным «номерам»; вкус его резко расходился со вкусом отца Сергея и большинства прихожан. Вдобавок многие были недовольны тем, что на клиросе появились девушки и даже замужние женщины. Регента скоро уволили, а в церкви так и укрепился мужской хор, в обычном составе. Результаты прежних спевков сказывались и сейчас, пели довольно стройно, сразу принимая тон, в котором отец Сергей делал возглас. Правда, наиболее удобный для него и для певчих тон, в котором пелось то или иное песнопение, повторялся из службы в службу, а переходы на другой тон тоже происходили в одних и тех же излюбленных местах. Зато это создавало впечатление особенной цельности, гармоничности, проникавшее все богослужение от первого возгласа священника до последней ноты хора.

Отец Сергей, всю жизнь стремившийся к тому, чтобы, не утомляя молящихся, совершать службу с наименьшими сокращениями, еще и ввиду этого не одобрял тягучего пения. Обычный темп за утреней был таков: как раз спокойно, но не медленно можно было сделать земной поклон, пока пелось: «Поклонимся Отцу и Его Сынови, и Святому Духу...», а в то время, пока отец Сергей катил вокруг храма (молодой и подвижный, он обходил его довольно быстро, хотя и без излишней торопливости), певчие успевали три раза пропеть величание со стихами перед каждым разом. Эти стихи все очень любили, и, нужно отдать справедливость руководителя хора, они брали не первые попавшиеся, а из всех стихов данного праздника выбирали лучшие.

Диакона в Острой Луке не было, и Евангелие на утрене прочитывалось священником в алтаре. Прихожане любили и этот момент, когда стоящий на середине церкви отец Сергей сам запевал своим красивым, хоть и не очень сильным тенором: «От юности моя мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой!» – и, худощавый, стройный, в ловко сидящем голубом праздничном облачении, легко, почти стремительно, шел в алтарь.

Так он держался и такое впечатление производил не только в годы своей ранней молодости. Время приносило перемены. Не один год отец Сергей, наравне с прихожанами, работал в поле. Вечерами возвращался тяжелой походкой усталого человека, без подрясника, в одной пропыленной и пропотевшей ситцевой рубашке, с рассыпавшимися из-под самодельной соломенной шляпы волосы. И волосы стали уже не те – посекелись, поредели, и небольшая борода превратилась в широкую, окладистую, с сильной проседью; и сам он отяжелел, опростился. (Надо сказать, что эту простоту крестьяне чрезвычайно ценили.)

Но и в это время в церкви он оставался прежним. Так ловко сидело на худощавой фигуре праздничное голубое облачение, и такой же легкой и стремительной казалась походка.

За годы, проведенные вместе, интересы отца Сергея стали особенно близки к интересам прихожан, но и раньше он не отделялся от них. Раз и навсегда он отказался от предложения, по примеру некоторых других сел, отвозить его к месту молебствия в поле на лошади.

– Пусть старики ездят, которым ходить тяжело, – отвечал он, – а я могу и потрудиться, пешком дойти. Мне дождь тоже нужен.

У отца Сергея не было привычки торопиться и во время будничных, заказных служб. Они совершались так же чинно, как и праздничные, только певчие-любители не приходили. Поэтому в будни и маленькие праздники, случавшиеся в горячую рабочую пору, на клиросе пел только псаломщик да иногда два-три особенно богомольных мужичка. Вообще же мужчины не отличались такой богомольностью, как женщины. В некоторые дни, например в

родительские субботы, они считали посещение церкви не обязательным для себя. Так шло до одного, многим запомнившегося, случая.

Как-то раз, не то на Троицкую, не то на Дмитриевскую родительскую¹⁸, отец Сергей возмутился. В воскресенье, на следующий день после родительской, он сказал горячую проповедь, как следует пробрал мужчин, не желающих даже почтить память своих умерших, и объявил: в следующую субботу будет родительская специально для мужчин. Слово подействовало; на свехустанную родительскую собралось много мужчин, да и женщины с удовольствием пришли вторично.

В день, назначенный для молебствия о дожде, напоминаний не требовалось; церковь была полна, и мужчин больше обыкновенного. Явились и старухи, и женщины с грудными детьми – не могут далеко пойти, так хоть в церкви и на кладбище постоят. Только не было ярких дорогих нарядов на девушках; одевались чистенько, но просто, чтобы потом легко было выстирать. И горячо, от души молились. Да и нельзя было не молиться. Вся служба от начала до конца была пронизана одной мыслью:

«Не хотяй смерти грешного... услыши нас... в покаянии молящихся тебе!»

«Повели облаком свыше одожиди и к плодоношению ороси землю!»

«Дождь волен даруй земли!»

«Дождь волен и тучу подай земли!»

«Прости беззакония наши и подай жаждущей земли дожди благододны!»

«Не умори нас голодом и жаждою!»

Для жителя богатого реками и озерами Среднего Поволжья немного странно звучало зародившееся на раскаленных побережьях Средиземного моря прошение: «О не уморите нас голодом и жаждою». И голода-то настоящего в этих изобильных краях до двадцать первого года люди не знали, не только жажды; но это прошение показывало, до чего может доходить бедствие от бездождия, и усиливало молитвенное настроение.

И в апостольском чтении говорится о земледельце, терпеливо ожидающем плода от земли, пока не получит ранний и поздний дождь, об Илии, который был человеком подобострастным нам, а по молитве его заключалось и отверзлось небо и шел дождь. И в Евангелии опять о нем же... И опять: «Пошади достояние Твое!», «Спаси человеки и скоты!» Все, о чем сейчас беспокоится и думает каждый человек.

Причастный стих... В Острой Луке не поют концертов, их заменяют «псалмы избранные», приуроченные к празднику, к памяти апостолов, преподобных, мучеников. Такой псалом поют и теперь.

«Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в мори далече...

Посетил еси землю и упоил еси ю (ее), умножил еси обогатити ю; река Божия исполнися вод...

Бразды ея упой, умножи жита ея; в каплях ея возвеселится, воссияющи...

Благословиши венец лета благости Твоея, и поля Твоя исполнятся тука... радостию холми препояшутся...

Одеяшася овни овчии и удолия умножат пшеницу... Воззовут, ибо воспоют...»

Служба кончается. Народ задвигался, разбирая вынутые из киотов иконы и вереницей выходя из церкви. Мужчины поднимают знамена (хоругви). За ними следует отец Сергей в облачении, с крестом, сопровождаемый певчими. Впрочем, теперь поют все желающие, в том числе и женщины. Пелись всем известные молитвы: «Царю Небесный», «Заступнице усердная», «Отче наш», «Не имама иныя помощи», тропари архистратигу Михаилу,

¹⁸ Троицкая родительская суббота (суббота перед Днем Святой Троицы) и Дмитриевская родительская суббота (26 октября/8 ноября), дни особого поминовения усопших.

в честь которого был престол, Николаю Чудотворцу и пророку Илии; «Милосердия двери отверзи»... и опять «Заступнице!» – и опять «Не имамы иныя помощи»... А в короткие промежутки, когда допевали одну молитву и еще не начинали другую, слышался дружный и мощный топот – деловитые и уверенные шаги толпы.

Шли быстро и споро, без отстающих, без забегающих вперед – за день нужно пройти, с остановками для молебнов, верст пятнадцать – двадцать. В начале пути некоторые подrostки пытались было обогнать толпу, но по обе стороны священника шли по два, по три попечителя с длинными палками в руках. Протянув такую палку по направлению к товарищу, они выравнивали передний ряд, а за ним и всю двигавшуюся сзади колонну. Впереди, следуя за извивами дороги, двигалась линия женщин с иконами, мужчины с хоругвями. Хоругви и большие иконы несли по двое. Время от времени из толпы отделялись люди и сменяли кого-нибудь из несущих. Поблескивали на ярком солнце металлические оклады икон, хоругви колыхались на длинных древках. Из-под ног с пересохшей дороги поднималась мелкая, легкая пыль, оседала на лицах, на одежде; чуть заметный ветерок относил ее в сторону, на зеленую стену хлебов. Проходя, люди ловили взглядом – держатся еще хлеба или их узкие длинные листья раньше времени начинают скручиваться в трубку – первый признак серьезного недостатка влаги.

На заранее намеченном месте, на перекрестке или около незасеянного загона, где могла бы поместиться вся толпа, уже стоял стол, а на нем большая чаша с водой. Служился водосвятный молебен, и после него молебен о дожде. Дальше всю дорогу по полям и обратно до церкви отец Сергей кропил святой водой сухую, потрескавшуюся от зноя землю.

На второй остановке – опять молебен о дожде, на этот раз с акафистом пророку Илии. Опустившись на ко лени на пыльную, засыхающую траву, люди усердно молились. Трогательно, как глубокие молитвенные вздохи всей толпы, звучали краткие, повторяющиеся слова припева:

«Даждь дождь земли жаждущей, Спасе!»

На небе над толпой заливались жаворонки. Привлекло ли их пение или блеск и колышание икон и хоругвей, но всегда во время весенних богослужений на открытом воздухе – на Пасху и Радоницу¹⁹ на кладбище, при освящении семян и первом выгоне скота в июле, вот теперь – над головами молящихся всегда собирались жаворонки и присоединяли свои серебристые голоса к голосам людей.

Во время хождения по полям вспоминались рассказы стариков о долго тянувшейся засухе, когда хлеба уже почти совсем пропали. Вот тогда молились люди! Можно сказать, слезами землю обливали. Один мужик настоял, чтобы молебен служили прямо на его загоне; сотни ног утолки тут землю, что не осталось ни следа посева, словно пустая пашня лежит. А на обратном пути, не успели дойти домой, начался дождь, да такой, что оправались все засыхавшие поля, а на вытоптанном загоне, где служился молебен, пшеница пошла от корня, густая, кустистая, как в лучшие урожайные годы.

Об этом случае слышали от стариков, а впоследствии, весной 1922 года, сами пережили нечто подобное.

Этой весны с нетерпением ждали. О ней мечтали всю длинную голодную зиму, такую голодную, что разве только 1840 год, как его описал Лесков, выглядел похожим на нее. Ждали первой травы, чтобы спасти остатки чудом перезимовавшего, изголодавшегося скота, которому в этом году не досталось не только мякины, а и вонючей колючки перекати-поле: все перемололи и перепекли на хлеб. Ждали соковых сережек, щавеля и дикого лука. Ждали ржи, которую раньше сеяли исключительно для скота; пшеницу-то далеко не каждый сумел сохранить на посев. Только бы завязалось раннее зернышко, только бы отвердело

¹⁹ Радоница (вторник второй седмицы по Пасхе) – день особого поминовения усопших.

настолько, что его можно будет вынуть из колоса, не стали бы ждать созревания, наварили бы каши.

Лук и щавель не обманули, они вырастали на лугах по мере того, как сходила полая вода. Были и сокоревые сережки, хоть и меньше обычного; за зиму целую сокоревую рощу спилили под корень и съели, расколов на мелкие, как сапожные гвозди, кусочки – только такие принимали на мельницу. Хлеба же не радовали; опять, как в прошлом году, не было дождей. А тут еще, с появлением съедобных трав, в селе появились истощенные, едва передвигавшие ноги женщины «из степи». За двадцать – сорок километров прибредали они с мешками за спасительной зеленью и, собирая лук и щавель, рассказывали местным жителям о не испытанных еще в Острой Луке ужасах; о больших пяти стенных избах, отдаваемых за краюшку хлеба; о сваленных в общественном амбаре окоченевших трупах, которые не хоронили всю зиму; о том, как в середине зимы эти трупы начали исчезать – их воровали и ели. Становилось жутко при мысли, что все это, а пожалуй, и еще худшее, может повториться и в Острой Луке, если в этом году опять не будет дождя.

На молебствие этой весной не вышли только древние старики да малые дети. Шли куда тише обычного – сил не было. Добравшись до остановки, до места служения молебна, некоторые бессильно опускались на землю; некоторые, подойдя к воде, смачивали лоб и волосы, чтобы унять головокружение.

Обычно, когда на пути крестного хода оказывалось озерцо, несколько мужчин вставляли около него, не подпуская нетерпеливых подростков. Взрослые и сами не подходили к воде – молебствуя, нужно поститься. В этом же году не только не запрещали пить, а даже возили с собой на всякий случай бочку воды и порожнюю подводу для ослабевших. Но на подводу никто не сел, и воды почти не пили, только кое-кто смачивал голову.

Зато молились с особым жаром, с горячими слезами. По-новому близки и понятны были прошения, весь смысл которых сводился к одному:

«О еже не помянути беззаконий и неправд людей Своих... во гневе Своем не погубити люди Своя... и препитати нас в гладе...»

А слова: «Дажь дождь...» – звучали как мольбы о спасении жизни.

Дожди вскоре прошли, и посевы ожили.

Замечательно, с какой скромностью люди вспоминали об этом потом. Никто даже не поминал о молитвенном порыве, охватившем народ, – ведь в этом случае косвенно хвалили бы себя. Говорили: «Господь еще раз пожалел нас, грешных».

Зато не раз можно было слышать утверждение, что дождь вымолили две женщины, принявшие на себя трудный подвиг: они как взяли во второй день молебствия большую, в металлической ризе, икону Божией Матери, так и носили ее целый день, не сменяясь.

– Как им Господь помог, выдержали, не упали. За их труды и нас Господь нашел...

И в селе, где все знали каждого подростка, никто не смутил скромности этих тружениц, никто не назвал их по имени. Говорили просто: женщины.

Глава 13

Часы отдыха

Когда выдавались не занятые приходскими делами вечера и не хотелось заниматься ничем серьезным, отец Сергей принимался за музыку. Он играл на скрипке и фисгармонии; кроме того, от отца ему достались гусли, на которых он, как когда-то покойный Евгений Егорович, играл простые, наивные и трогательные мелодии. Много приятных воспоминаний сохранилось об этих гусях у всех бывавших когда-то в доме Евгения Егоровича, и, прежде всего, конечно, у самого отца Сергея. Но гусли эти были совсем не такими, какие рисуются нам в руках у древних певцов, которые, удобно положив их на колени, «сказы-

вали» старые былины. Гусли отца Сергия были большие, на трех точеных ножках, и требовали почти столько же места, сколько фисгармония, а места не было. Поэтому в разное время они то стояли, приткнувшись у печки, то лежали на боку в коридоре. Скрипка была удобнее. Она спокойно ютилась под диваном или за письменным столом в ожидании, когда отец Сергей вынет ее из футляра и, поставив посреди комнаты самодельный пюпитр, начнет настраивать. При первых звуках сбегались дети, прослушивали несколько детских песенок, а когда музыка становилась более серьезной и без слов, отправлялись по своим делам. Более усердной слушательницей была жена, сидевшая с работой в соседней комнате, но отец Сергей не нуждался в слушателях, он играл для себя. Был, правда, один слушатель, на которого обращал внимание музыкант, это – рыжий таракан-прусак.

В течение нескольких месяцев, стоило отцу Сергию заиграть, таракан выползал из какой-то щели, устраивался на верхней части пюпитра и слушал, от удовольствия поводя усиками.

Иногда заходил, тоже со скрипкой, учитель Павел Афанасьевич, и тогда они исполняли скрипичные дуэты, или отец Сергей садился за фисгармонию и аккомпанировал скрипачу. Одно время он пробовал было привлечь к участию в концертах и Евгению Викторовну. Какой-то период времени они упорно занимались вдвоем, даже пробовали сыграть кое-что попроще и втроем. Но Евгении Викторовне не пришлось в детстве учиться музыке, и теперь ей было трудно справиться с фисгармонией, хотя и очень хотелось. А тут еще домашние хлопоты и заботы о детях. Дело не шло, занятия часто кончались слезами. Пришлось их прекратить.

Не всегда, конечно, отец Сергей с Павлом Афанасьевичем только играли. Иногда они и разговаривали, особенно если в это время кто-нибудь ездил в Березовую Луку и привозил с почты газеты. Павел Афанасьевич любил поговорить о том, что творится на белом свете. Но спорить он не умел; чуть только во мнениях собеседников оказывалось разногласие, как тон его становился ехидным, а речь язвительной. Конечно, на безрыбье и рак рыба. Нет поблизости других более или менее образованных людей, так приходится говорить и с ним. Но все-таки отец Сергей предпочитал его в качестве скрипача или партнера в шахматы, а не собеседника. За шахматами они могли просиживать целые зимние вечера, но только если не было никого посторонних. Шахматы были наименее популярными из всех увлечений отца Сергия. Стоило шахматной доске появиться на столе при гостях, как на лицах появлялись недовольные гримасы, и сразу же, в лучшем случае после одной-двух партий, раздавались голоса: «Что это за игра! Уткнутся носом в доску и никого больше не замечают. Отец Сергей, спойте лучше!»

Отец Сергей садился за фисгармонию. На стуле около нее возвышалась целая стопка нот, печатных и рукописных, но он редко пользовался ими. И у него, и у его слушателей были излюбленные вещи, которые его просили спеть, и он пел без нот; иногда именно тех вещей, которые он пел, даже и не было в его нотных сборниках.

В числе любимых были некоторые романсы, русские и украинские песни, арии из опер, преимущественно из «Жизни за царя», где он пел не только арии Сусанина и Вани, но, при помощи фисгармонии, изображал даже хор девушек «Разгулялася, разливалася».

Пел он и песню Мефистофеля о золотом тельце, арию Пимена, арию Мельника... Исполнение последней арии было особенно характерно для его стиля. Он пел, иногда даже полуобернувшись к присутствующим тут девочкам и девушкам-подросткам и, как бы обращаясь к ним, толковал о том, что «мало толку в вас», «упрямы вы», «своим умом богаты», – а советы, которые «молодым девкам» не особенно полезно слушать, пропускал так естественно, словно их и не было совсем. Так же было и в арии «Куда, куда вы удалились» – и в любимом женщинами романсе «Я видел березку». Отец Сергей показывал музыкальную красоту вещи, а когда дело доходило до любовной части, она незаметно стушевывалась,

заменялась одним аккомпанементом или пелась так иронически, между прочим, что не производила впечатления. Впрочем, в большинстве исполняемых им вещей не нужны были и эти уловки. Он пел «Слезы людские», «Как король шел на войну», «Лесной царь», песни о Волге и о Днепре, некоторые шуточные и совершенно безобидные песенки.

Около дверей пение слушали кухарка, няньки, церковный сторож и соседка, бабушка Матрена или другая женщина, приглашенная помочь постряпать. Они не только слушали, а и обсуждали попутно наружность собравшихся женщин. Что же, красива и теликовская матушка, величественная, немного чопорная, в золотом пенсне; и березовская – пышная, белая, веселая, со слегка выющимися волосами; и младшая из всех гостей, Марья Григорьевна, жена Павла Афанасьевича, – высокая, выше мужа, стройная, с пышными волосами и изящной головкой. Но, пересмотрев и потихоньку обсудив всех присутствующих, строгие судьи снова любующимся взглядом окидывали Евгению Викторовну, ее темно-русые, в луче света отливающие золотом волосы, окруженное ими милое личико, мягкие серые глаза, ее фигурку, после троих детей сохранившую девическую стройность.

– Все равно наша матушка лучше всех, – с гордостью заключали они.

Миша, брат матушки, любил рисовать, и рисовал недурно. С его приездом извлекались из недр письменного стола масляные краски, снимались со стены полузабытые там палитры, и столовая превращалась в мастерскую двух художников. На память об очередном увлечении оставались закапанные краской стулья и несколько работ отца Сергия – два-три вида села, довольно похожий автопортрет и особо поразивший воображение детей большой, разрезанный пополам красный арбуз; так и хотелось отрезать от него еще один большой сочный ломоть.

Зимой, идя на урок в школу или возвращаясь из школы, а то и просто проходя мимо, отец Сергей останавливался около играющих во время перемены школьников и начинал перекидываться с ними снежками, советовать, как лучше сделать снежную крепость, или выстраивал их и учил маршировать. Строгий в школе, не допускавший во время своих веселых и оживленных уроков никаких шалостей, хотя он охотно допускал смех, во время перемены он держался старшим товарищем. Дети так пристрастились к этой игре, что не давали своему «командиру» покоя. Пришлось назначить другого, низшего, командира, бойкого, смышленного мальчишку Саньку Страхова.

Собравшись утром из школы, «солдаты», если ночью шел снег, прежде всего отправлялись протаптывать дорожки. Протаптывать до квартиры учительницы Елизаветы Аркадьевны легко и неинтересно: она живет через улицу от школы и рано утром там уже всегда бывают следы.

Гораздо интереснее и серьезнее другой участок – площадь. После снегопада она покрывается ровной белой пеленой, и только по едва торчащим вешкам видно, где должны быть тропинки. Мальчики идут гуськом, причем передний чуть не по пояс проваливается в снег (почетная и увлекательная должность), а после заднего получается твердая дорожка. Протаптывают по трем направлениям: от школы к церковной сторожке и церкви, где потом, в случае удачи, можно выклянчить у сторожа право пробить в колокол «восемь часов» – сигнал для начала уроков; от церкви – к дому батюшки, а от него опять к школе. Когда было настроение (а оно бывало часто), добравшись до батюшкиного дома, Санька выстраивал свой отряд, и ребята по команде кричали «ура» до тех пор, пока отец Сергей не выходил к ним. Он здоровался с «войском», благодарил за протоптанную дорожку – ответы по громкости и лихости (но не по стройности) могли соперничать с ответами самых боевых гвардейцев, – давал несколько команд и, наконец, последнюю: «Шагом (или бегом) марш в школу!»

В таком бедном селе, как Острая Лука, приобретение священнического облачения представляло целую проблему; за двадцать лет служения отца Сергия было куплено всего три ризы. Решив попытать счастья в богатых городских приходах, он обратился к знакомому

настоятелю одной из самарских церквей и попросил отдать что-нибудь из старых, не нужных для церкви облачений. Он предполагал, что это, не нужное в городе, в селе если не заменит праздничное голубое облачение, надевавшееся только в особо торжественные праздники, то, во всяком случае, будет вполне прилично для обычной воскресной службы. Но в полученном им большом узле только одна риза оказалась пригодной для исправления треб в будни, остальные не годились даже для этого. Прихожане понатужились и приобрели для воскресений недорогую красную ризу. С полученным же старьем матушка долго возилась – кроила, подметывала, вырезала особенно более потертые куски, заменяя их более свежими из другого места, и наконец смастерила два небольших стихарика²⁰ для мальчиков, да и то с оплечьями другой расцветки.

Чести носить стихарики и прислуживать за богослужением удостоились Максим Дуров и Санька Капишин. Активные, прилежные ребята, они давно мечтали чем-нибудь участвовать в церковной службе, но единственный в то время способ – пение на клиросе – был для них недоступен, так как один не имел голоса, а другой и слуха. Зато сейчас они были в восторге. А какое впечатление производила на прихожан, особенно в первое время, «торжественная» служба, во время которой перед священником, несущим Евангелие или Святые Дары, шли два одетых в стихари мальчика с подсвечниками! Во время первой службы даже степенные мужики наклонялись и заглядывали в алтарь, чтобы подольше насладиться невиданным зрелищем.

Глава 14

По ту сторону иконостаса

Сторож Евдоким Лукьянович волновался как никогда. Шла обыкновенная воскресная обедня, при каких он столько раз прислуживал. И все шло как обычно. Когда он отзвонил и сошел с колокольни вниз, батюшка совершал проскомидию. Около него, недалеко от жертвенника, стоял псаломщик и читал поминания. Их было немного. Псаломщик скоро кончил, вышел из алтаря, сошел с амвона; осенившись крестом, прошел внизу мимо Царских врат и опять поднялся по ступенькам, уже на правый клирос. Так всегда делается. Никто, кроме священника, не дерзал проходить мимо Царских врат по амвону; даже когда сторожа мыли пол, они издали, вытянутой рукой, доставали эти доски, не ступая на них.

Постепенно собирались певчие, храм наполнялся молящимися. Высокий красивый старик Трофим Поликарпович Гусев, певчий и попечитель, наклонившись с клироса, принял переданные из народа две свечи и, взглянув на Евдокима Лукьяновича, показал ему их; это означало, что одна из свечей предназначалась для иконы с левой стороны иконостаса. Евдоким сделал несколько шагов к середине амвона, не ступая на заветную полосу, перекрестился и протянул руку. Трофим Поликарпович таким же образом передал ему свечу. Все это так привычно, но сегодня ощущается как новое, в первый раз увиденное, в первый раз понятное.

«Даже здесь, снаружи, все так благоговейно и по порядку делается, – взволнованно думает Евдоким, – а как же должно быть в алтаре!»

Запели «Херувимскую». Все опустились на колени. В этом случае батюшка строг, не позволит нарушать торжественные минуты небрежным стоянием, а тем более ходьбой. Он даже много раз предупреждал, чтобы те, у которых начинается голова незадолго до важнейших моментов богослужения: Евангелия, «Херувимской», «Милости мира», – лучше выходили заранее; а уж кто остался, пусть терпит, пока люди не встанут с колен.

²⁰ Стихарь – длинное облачение с широкими рукавами. Носят не только священнослужители, но и прислуживающие в алтаре (алтарники).

– Не бойтесь, не упадете! – говорил он. – Тут часто бывает не настоящее нездоровье, а искушение. А ведь правда, не было случая, чтобы кто-то в это время упал.

А кликуши! Мало ли их по селам! Случается, и в Острой Луке закричит какая-нибудь «под перенос Даров»²¹. Батюшка только строго взглянет на нее и скажет: «Прекрати!» – и все у нее как рукой снимет.

Труднее всего мужиков перебороть. Евдоким Лукьянович вырос в селе и то никак не может понять, откуда такая мода проявилась: вбили себе в голову некоторые, что мужикам «бесчесно» в землю кланяться, что это женское дело. И стоят, как пни осиновые, прости, Господи!

Уж батюшка и в школе внушает, и в проповедях говорит, что, когда поют «Иже херувимы», все должны на колени встать. А тем более в конце службы, когда Святые Дары выносятся из алтаря. В Чаше в это время Сам Спаситель невидимо присутствует, а перед Ним какая уж гордость! Все Ему должны поклониться. Так нет, все равно стоят. Не все, конечно, а стоят.

Один раз до чего дошло! После причастия вышел батюшка со Святыми Дарами, чтобы их на жертвенник перенести, сделал возглас: «Всегда, ныне и присно!», а мужики стоят. Батюшка вернулся, поставил Чашу на престол, вышел и давай все снова объяснять, почему полагается кланяться. Потом взял опять Чашу и снова осенил народ:

«Всегда, ныне и присно!»

И ведь есть же такие бестолковые! Все поклонились, а трое парней в первом ряду опять стоят. Батюшку, бедного, видно, горе взяло. Обернулся к ним и прикрикнул:

– Что вы стоите как столбы! Кланяйтесь! Тогда только поклонились²². А служба продолжается, и Евдоким Лукьянович усердно молится, несмотря на лезущие в голову посторонние мысли. Волнуется он так, что во рту пересыхает. Только в детстве перед причастием так было.

Дело в том, что вчера он решился поделиться с батюшкой своей заветной мечтой, и отец Сергей разрешил ему остаться в алтаре во время Евхаристийного канона.

Обыкновенно перед пением «Верую» один из сторожей уходит звонить «к Достойной», а другой, приготовив все, что от него требуется, тоже выходит из алтаря, плотно прикрыв за собой боковую дверь и оставив священника одного в единственный по значению момент освящения Святых Даров. Обрато входит он только тогда, когда в алтаре раздаются знакомые слова, сказанные вполголоса, но громче предыдущих. А сегодня Евдоким остается на своем месте между боковой дверью и печкой, и напряжение его достигает последней крайности. Еще бы: сейчас он увидит то, чего не видел ни кто в селе, ни их отцы и деды, – увидит, как «совершаются Святые Тайны».

Нельзя сказать, что сторожу и другим молящимся совсем незнакомо то, что происходит в это время в алтаре. На Пасху Царские врата открыты, и стоящие против них видят все. Видят, но почти ничего не слышат, мешают друг другу. Бывает иногда, отец Сергей так увлекается, что читает тайные молитвы почти полным голосом и отдельные фразы долетают до молящихся²³.

²¹ Момент литургии, когда Святые Дары в алтаре переносятся с жертвенника на престол.

²² Этот случай произошел позднее, уже на моей памяти, так что Евдоким Лукьянович не мог вспомнить о нем, но борьбу за благоговейное отношение к Святым Дарам отец Сергей вел всю жизнь. Характерный случай произошел еще позже, Великим постом. Наташа, стоявшая вместе с другими детьми в первом ряду причастников, заторопилась и опустилась на одно колено. Отец Сергей, чтобы не нарушать торжественного настроения, в это время ничего не сказал, а дома заметил: «Что-то у нас причастница сегодня только на одно колено встала». – *Авт.*

²³ Чем дальше, такие моменты повторялись все чаще, а под конец служения отца Сергея чтение тайных молитв «разговорным» голосом, слышимым в передних рядах молящихся, стало обычным. – *Авт.*

Но все это не то. Трудно совместить увиденное раз-два в год с услышанным в другое время, да и хор мешает слушать. Здесь же, в алтаре, видны не только мельчайшие движения, а даже выражение лица священника, и слышно все до слова. Таким счастьем нельзя не дорожить.

«Верую во единого Бога Отца...» – поет хор.

Отец Сергей, только что приложившийся к Чаше и дискосу, расправляет на руках покрывавший то и другое вместе плат – «воздух» – и мерными, неторопливыми движениями повеваает им над сосудами, символически изображая веяние Святого Духа. И сам вполголоса читает «Верую». Кончив, свертывает и откладывает воздух туда, где уже лежат малые покровцы. Теперь Чаша совсем открыта, а на дискосе, поверх Агнца и других частиц, остается только звездича – две тонкие серебряные полосы сантиметра 2–3 шириной, спаянные в цент ре в виде креста. Каждый из четырех ее лучей согнут почти посредине под прямым углом так, чтобы ее можно было поставить на ребра узких концов. Звездича служит для поддержания воздуха, не давая ему касаться лежащих на дискосе частиц, и является символом Вифлеемской звезды.

«...И жизни будущего века. Аминь», – допевает хор. И отец Сергей возглашает полным звонким голосом «вслух народу»:

«Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносить!»

А хор – народ, как указывается в других местах богослужения, – подтверждает свое согласие принять посильное участие в предстоящем. Что он может принести?

«Милость мира, жертву хваления».

Народ подтверждает, а священник, хоть и отделенный от него закрытыми Царскими вратами, оборачивается к нему лицом и благословляет людей, призывая на них помощь Божию:

«Благодать Господа Нашего Иисуса Христа, и любви (любовь) Бога и Отца, и причастие (участие, единение) Святаго Духа буди со всеми вами!»

«И со духом твоим», – возвращает хор доброе и такое нужное пожелание. Тогда отец Сергей все более крепнувшим, звучным голосом призывает: «Горе имеем сердца!»

«Имамы ко Господу», – смиренно и в то же время твердо соглашается хор. И священник, охваченный радостью за этот идущий за ним горе²⁴ народ, бросает в их устремленные в небо сердца:

«Благодарим Господа!»

«Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе поклоняться во всяком месте владычества Твоего. Ты бо еси Бог неизреченен, неведомъ, невидимъ, непостижимъ, присно сый, такожде сый; Ты и едиnorodный Твой Сын, и Дух Твой Святой. Ты из небытия в бытие нас привел еси, и отпадшыя восставил еси паки, и не отступил еси, вся творя, дондеже нас на небо возвел еси, и царство Твое даровал еси будущее. О сих всех благодарим Тя и едиnorodного Твоего Сына, и Духа Святаго, о всех, ихже ве мы и ихже не ве мы, явленных и не явленных благодеяниях, бывших на ны. Благодарим Тя и о службе сей, юже от рук наших прияти изволил еси, аще и предстоят Тебе тысячи архангелов и тмы ангелов, херувими и серафимы, шестокрылатии, многоочитии, возвышающияся, пернатии».

Четырьмя пальцами он берет звездичу и произносит громко и торжественно, осеняя при этом крестообразно дискос звездичей, как бы объединяя каждое движение с произносимым словом. И не просто осеняя, а твердо ударяя каждый раз концом звездичы дискос, на что он отзывается мелодическим серебряным звоном, означающим пение ангелов.

«Победную песнь поюще... вопиюще... взывающе... и глаголюще...»

²⁴ Ввысь. – Авт.

«Свят, свят, Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних! Благословен Грядый во имя Господне!» – «косно и со сладкопением» отвечает хор²⁵.

Весь напряженный, точно выросший, отец Сергей продолжает горячо и быстро, как будто слова не успевают за стремительным взлетом его мысли:

«С сими и мы блаженными силами, Владыко Человеколюбче, вопием и глаголем: свят еси и пресвят Ты, и едиnorodный Твой Сын и Дух Твой Святой; свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя, Иже мир тако возлюбил еси, якоже Сына Твоего едиnorodного дати, да всяк веруай в Него не погибнет, но имать живот вечный; Иже пришед, и все еже о нас смотрение исполнив, в ночь, в нюже предаваясь, паче же Сам Себе предаеше за мирский живот, приемь хлеб во Святыя Своя, и пречистыя, и непорочныя руки, благодарив и благословив, освятив, преломив, даде святым Своим учеником и апостолом, рек:

«Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов!»

«Аминь!» – поет хор, а отец Сергей, произнеся в это время:

«Подобне и чашу по вечери, глаголя», – провозглашает вслух:

«Пийте от Нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов!»

«Аминь, а-аминь», – вздыхает хор.

Отец Сергей не слышит его, не видит, что делается вокруг. Он весь – в таинстве, которое вот-вот должно совершиться:

«Поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся, яже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса вознесение, одесную седение, второе и славное паки пришествие...»

«Твоя, от Твоих, тебе приносяще, о всех и за вся...»

«Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи. И молим Ти ся, Боже наш, Боже наш; и молим Ти ся, Боже наш, Боже наш, Боже наш...» – звучит на клиросе.

Отец Сергей, со словами молитвы, делает несколько поясных поклонов.

Евдоким почти уже не слышит не только пения, но и этих слов; он только чувствует, о чем может молиться священник, приступая к самому страшному моменту, и сам молится о том же.

«Еще приносим Тебе словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и мили ся деим²⁶, ниспосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащая Дары сия...»

Отец Сергей уже поднял обе руки; поднял их и вверх, к небу, и раскинул в стороны, одновременно призывая Бога и открывая перед Ним всего себя, все свое сердце. И, весь охваченный молитвенным порывом, дерзновенно и смиренно просит:

«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославши, Того Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся».

Глубокий поклон с покаянным вздохом из самой глубины души:

«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей».

И снова вздымает он вверх обе руки, и снова просит:

«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа...»

«Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене...»

«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа...»

И опять перемена, и он уже внешне почти спокоен, и уже как будто не он, а Святой Дух водит его рукой, благословляющей сначала хлеб, потом вино в Чаше. И почти полным голосом, забыв обо всем: он и Господь одни во всем мире, – произносит величественные слова, обращенные к Нему, Стоящему вот здесь, рядом:

²⁵ «Осанна» – «спасение» (приветственный возглас евреев). Косно – медленно. – *Авт.*

²⁶ Умиляемся.

«И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего! Аминь».

«А еже в чаши сей Честную Кровь Христа Твоего! Аминь».

И еще медленнее и благоговейнее движется рука, благословляя «обоя», и отдельно, отчетливо, словно печати кладутся на сердце, звучат слова:

«Преложив... Духом... Твоим... Святым... Аминь! Аминь! Аминь!»

Все, почти нечеловеческое, напряжение спадает сразу. И снова перед престолом слабый человек – священник, потрясенный тем чудом, которое Господь только что через него «прियाи изволил», и вот уже он опустился... нет, не опустился, а рухнул на колени перед Святыми Дарами, со слезами восторга и благоговения:

«Поклоняюсь Царю и Богу моему!..»

«И молим Ти ся, Боже наш!» – последний раз долетает с клироса.

Евдоким не помнил, когда он опустился на колени. Обливаясь слезами, замер он в земном поклоне, и не сразу дошел до него голос отца Сергия, кажется уже не один раз окликнувшего:

– Евдоким, кадило!

Передавая впоследствии свои впечатления семье, Евдоким Лукьянович бессознательно повторял слова, сказанные когда-то послами Владимира Святого:

– Не знаю, на земле я был или на небе.

Глава 15 Леночка

1913 г.

Леночке полтора года. Как все маленькие С-вы, кроме Кости, она нежненькая, крепенькая, как молодой груздок, со светлыми волосиками и темно-голубыми глазками. С возрастом глаза детей постепенно бледнеют, а у каждого нового ребенка снова поражают своей глубиной и безмятежной синевой. У Леночкиных глаз пока нет соперников, ими любуются все, от бабушки до Миши, и она внимательно осматривает ими свой мир, состоящий из нескольких комнат и кусочка занесенной снегом площади перед домом, и каждый раз находит в нем что-то новое.

По установившемуся порядку Еничка два раза в год, к Рождеству и к Пасхе, посылает матери деньги, и та, иногда добавляя что-нибудь от себя, присылает посылки с подарками для детей и с разными вещами, которых нельзя достать в селе. В последней рождественской посылке было вязаное, из мягкой шерсти детское платьице, синее с красной отделкой, и красные фланелевые ботиночки, и малютка, одетая в них, сама кажется пушистой елочной игрушкой. Только игрушка эта отличается неутомимой подвижностью и бегает по всем комнатам, нарочно стараясь погромче топтать «настоящими» подошвами ботиночек, которые и сами-то получили название «топыньки». Чаще всего она играет в зале или столовой, но стоит кому-нибудь загреметь умывальником, как она выбегает в прихожую и останавливается около умывающегося, ожидая, чтобы на нее брызнули водой. Дождавшись этого, девочка с радостным смехом бежит к драпировке из сурового полотна, отделяющей столовую от «папиной» спальни, вытирается ею и снова торопится к умывальнику. Леночка – мамина дочка, это всеми признано и никого не обижает. Она одна спит с мамой в ее спальне, а все остальные – с папой. Дети еще не помнят, что на папино попечение передавался, один за другим, каждый ребенок, когда мама ожидала следующего. Наоборот, еще недавно Сонина кровать опять стояла в маминой комнате, а детям, то одному, то другому, по очереди, разрешалось иногда спать вместе с мамой, что считалось большим счастьем. Но потом вдруг

произошло переселение, на этот раз в такой форме, что на него нельзя было не обратить внимания. Папа решил, что неудобно иметь три детских кровати в разных углах комнаты, как сделали было сначала: дети разметывались, иногда пугались во сне, чтобы следить за всеми ими, нужно было не спать самому, переходя от одного ребенка к другому. Поэтому он решил устроить одну общую постель. Наглухо закрыли дверь в прихожую, к папиной кровати вплотную приставили другую, а еще дальше третью, детскую. На ней до сих пор спала Соня, уже как большая, без сетки, хотя и случалось не раз, что, сладко потянувшись, она вместе с одеялом оказывалась на полу. На вновь изобретенной широкой кровати, похожей на нары, предназначенной для всего выводка С-вых, эта опасность почти отсутствовала, лежать на кроватях поперек было гораздо просторнее, чем вдоль; маленькая кровать в ногах давала возможность и папе, спавшему с краю, вытянуться во весь рост, а ночью можно было только протянуть руку, обследовать, все ли в порядке в его владениях. Да и дети были спокойнее, чувствуя около себя сильную защиту.

Рядом с папой спал маленький Миша, дальше – Костя, а еще дальше, у самой стены, Соня. Конечно, она уже понимала, что ни волки, ни разбойники не приходят по ночам за детьми (кстати, кровать стояла вплотную к стене, и волку негде было пролезть), но все-таки гордилась своей храбростью и тем, что помогает папе, охраняя своего соседа Костю.

Укладываясь, дети долго возились, пищали, спорили. Как-то все получалось, что, несмотря на широкую постель, одному не хватает места для головы, а другому для ног, что одеяла, рассчитанные на более крупных людей, коротки, а подушки положены неудобно. Наконец все разместились и успокоились, и тогда раздавался чей-нибудь голос:

– Папа, расскажи сказку!

Папа не умел рассказывать сказок про Золушку, про разбойников и Ивана Долгого, про медведя на липовой ноге и других, которые рассказывала мама и няньки; не умел даже, подобно дяде Мише, создавать фантастические путаницы из «Руслана и Людмилы», «Освобожденного Иерусалима», «Конька-Горбунка» и всего, что придет на ум. Зато его сказки ближе к жизни, его можно было попросить рассказать о чем угодно, и он с одинаковой готовностью рассказывал про собаку, жеребенка, самовар или любимую сказку про клопа, блоху и таракана, удивительные приключения которых кончались гибелью этих малосимпатичных героев от руки Немезиды в лице мамы.

Но иногда папа не принимал заказов, а сам выбирал себе тему.

– Сегодня я расскажу новую сказку, – говорил он, – она называется «Как Костя подрался с Мишей».

Снова поднимался взволнованный писк, заинтересованные лица пытались спорить, но одновременно, сознавая бесполезность спора, настраивали уши. Было интересно и немного жутко (для самолюбия, конечно) слушать эту сказку, в которой задевалась и не указанная в заглавии Соня, и иногда целая вереница их друзей и врагов из двуногого и четвероногого мира. Дети смеялись, горячо протестовали, когда преувеличение недавних событий становилось уже слишком фантастическим, и в то же время где-то в глубине их умишек откладывалась мысль, что в будущем лучше не подавать повода для таких «сказок». Добрые намерения, часто разлетавшиеся в прах при новом столкновении с жестокой действительностью!

К концу сказки дети все больше затихали, дыхание делалось ровнее, глубже, и они засыпали, иногда не дождавшись развязки. Проснувшись ночью, отец Сергей видел двоившиеся со сна у него в глазах руки, ноги и головы в самых невероятных сочетаниях, как на поле битвы: рука, а то и нога одного лежала на шее другого; тот свернулся клубочком от холода, лежа поверх сбитого одеяла; тот повернулся поперек постели; один раз даже кто-то ухитрился устроиться так, что голова лежала внизу, а ноги на подушке. Сходство с полем битвы усиливалось тем, что все эти тела не проявляли никаких признаков жизни, когда отец водворял среди них порядок.

А однажды, уже зимой (это была первая зима Леночкиной жизни и третья – Мишиной), когда в комнате было прохладно и детей сверх одеяла пришлось одеть широкой стеганой рясой, Миша исчез. То есть он не исчез совершенно, он где-то возился и хныкал, но его невозможно было найти. Отец Сергей пошарил под одеялом – нет, сунул руку между одеялом и рясой – нет, сверх рясы – то же нет. И лишь тогда, когда зажег спичку, он понял, в чем дело: Миша забрался в широкий рукав рясы, как раз подходивший для его тельца, и постепенно спускался в нем до тех пор, пока ноги начали мерзнуть, а самому стало душно. Только тогда он подал голос.

Существовавший порядок нарушился только один раз, когда родился и через две недели умер Риня и в то же время Соня заболела свинкой. Едва оправившейся Евгении Викторовне пришлось, уединившись в своей маленькой комнатке, к которой не подпускали остальных детей, возиться сразу с двумя больными. Поэтому братья и сестры почти не помнили Ринечку: мальчики его почти не видели, а Соня была поглощена своей болезнью и даже на похороны не могла идти.

* * *

*Она пела, а сама ломала руки и плакала.
Много тут было песен, но еще больше слез.
Андерсен. Мать*

*Видех младенца умирающа, и жизнь свою оплаках.
Чин погребения священников*

Эта зима была тяжела для семьи. Ближе к весне заболели корью мальчики, а через несколько дней, когда они оба начали немного оправляться, свалилась и Леночка. Корь не считалась серьезной болезнью. Народный опыт говорил, что каждый ребенок должен переболеть ею, всего лучше, если в возрасте от одного до пяти лет, и что при этом важен только хороший уход. Матушка, которая когда-то выходила Соню и теперь почти уже выходила двоих сыновей, могла считаться опытной в этом отношении; поэтому болезнь Леночки не вызвала особого беспокойства, и сначала никто не обратил внимания на то, что она протекала не совсем так, как у остальных детей. Только на четвертый или пятый день заметили, что температура не спадает, что девочка тяжело дышит и жалуется на боль в груди и боках. Рано утром послали за пятнадцать верст за фельдшером. Но фельдшер Степан Ефимович славился не только своей опытностью, привлекавшей к нему больных даже из тех сел, где имелся свой фельдшерский пункт. Почти в такой же мере он был известен пунктуальной медлительностью, с которой составлял лекарства и мыл руки после каждого больного. Он мог выехать, лишь окончив длинный дневной прием, приехал поздно вечером и только подтвердил диагноз, ясный в это время уже и неспециалисту: крупозное воспаление легких в тяжелой форме.

Болезнь прогрессировала быстро. Если мальчиков старались не оставлять одних просто для того, чтобы вовремя подать пить или выполнить случайное желание больного ребенка, то теперь скоро стало ясно, что от постели девочки нельзя отходить ни на шаг, что каждую минуту может потребоваться срочная помощь. А чем помочь? Компрессами, той микстурой, которую больше для очистки совести прописал Степан Ефимович, сам, по-видимому, не надеявшийся на благоприятный исход болезни? Родителям казалось, что они помогут одним своим присутствием. Не смыкая глаз, чередовались они у кровати Леночки. И вот теперь, вечером шестого дня болезни, когда остальные дети спокойно спали, Евгения Викторовна сидела около нее и тихим, еще ослабевшим от переутомления голосом напевала:

Улетел орел домой,
Солнце скрылось за горой,
Ветер после трех ночей
Мчится к матери своей...

Девочка металась на своей маленькой кровати, в комнатке с затемненными, не открытыми даже на ночь окнами. Глазки у нее были закрыты, дыхание хриплое, тяжелое. Когда мать запела, она ненадолго присмирела, потом снова беспокойно задвигала головкой то в одну, то в другую сторону...

– Мама, не эту, про козлика!

Евгения Викторовна перевернула обратной стороной горячую подушку и запела наивную песенку про серенького козлика, которого очень любила бабушка. Леночка затихла, как будто забылась, но песня все звучала, чтобы молчание не разбудило ребенка.

Дверь тихонько скрипнула. Вошел отец Сергей:

– Ну что? Как?

– Все так же. Только что забылась. Нет, опять мечется.

Отец Сергей положил на горячий лобик дочурки прохладную, не успевшую согреться руку.

– Леночка, ты меня слышишь?

Леночка с трудом открыла воспаленные синие глаза, казавшиеся громадными на ее исхудалом личике. «Папа!» – прошептала она и улыбнулась, но улыбка вышла такой жалкой, что по щекам матери покатались давно сдерживаемые слезы, а отец крепко, так, что обозначились скулы, сжал зубы и отвернулся.

– Ты бы прилегла, Еничка, а я посижу, – сказал он через некоторое время, глядя на осунувшееся, побледневшее лицо жены, окруженное высоким валиком растрепавшихся темно-русых волос. – Измучилась ты!

Она отрицательно покачала головой:

– Нет, я все равно не засну. Ложись лучше ты, ты тоже измотался за эти дни, а ночью едва ли спать придется, ей всегда хуже ночью.

Она не добавила, что нужно ждать кризиса, они и так все время думали об этом. Но отец Сергей действительно измотался: шел Великий пост; деля с женой ночные дежурства около больных детей, он не мог отдохнуть после напряжения первой недели, а сегодня были похороны, пришлось провожать покойника по проваливающейся весенней дороге с самого конца села и потом сразу же идти причащать тяжелобольного. Поэтому, несмотря на беспокойство, отец Сергей заснул тяжелым сном, едва голова его коснулась подушки. Еничка тоже задремала, склонив голову на спинку кровати дочери. Очнувшись через некоторое время, она только взглянула на ребенка и тихонько прошла в спальню мужа.

– Сережа, вставай, плохо, – вполголоса, чтобы не разбудить детей, сказала она.

Леночка лежала разметавшись. Прерывистое дыхание со свистом вылетало из тяжело поднимавшейся грудки, жар еще усилился, язык был обложен. Время от времени девочка соскабливала исхудавшими пальчиками, видимо, беспокоивший ее белый налет и, не открывая глаз, протягивала матери. Постепенно эти движения становились реже, дыхание медленнее. Склонившись над кроватью, Евгения Викторовна тихонько позвала:

– Леночка!

Помутившиеся глазки на мгновение открылись, потрескавшиеся губки чуть слышно прошептали: «Мама!» Дыхание становилось реже.

– Леночка, дочка!

Длинные, крепко сжатые ресницы чуть-чуть дрогнули. Вздохи сделались еще реже, наконец прекратились совсем.

Маленький гробик, стоящий в зале, уже обит белым коленкором. На углах коленкор аккуратно подогнут и прибит мелкими гвоздиками: это работали ловкие руки отца. Мать украшает верхнюю часть гробика – ребро, на которое будет накладываться крышка, – рюшкой. Это длинная, вырезанная по обеим сторонам зубчиками ленточка из коленкора. На равных расстояниях она закладывается складочками и прибивается гвоздиками, но молоток в материнских руках ударяет криво, гвоздики гнутся и плохо идут в дерево, а зубчики рюшки неровные: их вырезают неопытные руки сестренки. На белой крышке гроба аккуратно прибит восьмиконечный крест из розовой ленты, под коленкор, посланный на дно гробика, набросана душистая богородичная травка, ею же набита и маленькая подушечка. На подушечку кругом воскового личика маленькой покойницы Евгения Викторовна укладывает лучшие цветы из своего свадебного букета – белые розы, сирень, ландыши, жасмин. Соня с удовлетворением отмечает, что, хотя у Ринечки подушечка была из голубого атласа, гробик Леночки выглядит не хуже, пожалуй, еще наряднее.

Детей не принято хоронить с выносом, но неужели отец не проводит дочку? Он провожает маленький гробик в облачении, под торжественный и печальный, хватающий за душу колокольный звон. Соня несет маленькую иконочку Божией Матери, лежавшую в гробике, ее подружка Анюта несет крышку. Но, вполне проникнувшись сознанием важности своих обязанностей, Соня все-таки замечает, что мама не рыдает, бросаясь на шею то одной, то другой из присутствующих женщин, как рыдала недавно жена учителя, Марья Григорьевна, когда у нее умерла Ниночка. Мама плачет тихо и сдержанно, но ее делается так ужасно жалко.

Ночью Соня проснулась уже в третий или четвертый раз и села на диване, на котором спала с тех пор, как заболели мальчики, – села с твердым намерением не засыпать больше, чтобы преодолеть мучивший ее кошмар. Несмотря на то, что, просыпаясь, она старалась думать о самых приятных и интересных вещах (так ей в подобных случаях советовали мама и бабушка), ей снова и снова снился все тот же страшный сон. Ей снилось, что Леночку зарыли живую и что она задыхается и плачет в своем гробике.

Соня решительно подтянулась в уголок, прижалась спиной к спинке дивана, чтобы не было страшно, и приготовилась думать о том, как установится настоящая, теплая весна и как они поедут в Самару к бабушке. Но сломанная диванная пружина предательски загремела, спинка скрипнула, и в прихожей послышались тихие шаги мамы.

– Ты не спишь, дочка?

– Нет, я видела страшный сон.

Мама присела на диван рядом с Соней, и та заметила, что она совсем одета, словно и не ложилась, хотя в спальне было темно. Инстинкт подсказал девочке, что сна расказывать не следует, а нужно только покрепче прижаться к маме, что мама и сама рада тому, что она проснулась. И странно: мама, тихонько поглаживая ее волосы, тоже начала говорить о том, что скоро установится весна и они поедут к бабушке. Может быть, ей тоже приснился страшный сон.

Постепенно мысли Сони стали путаться, и она уснула крепко и спокойно, но мама еще долго сидела около нее, гладила ее волосы и думала.

В этот год Соню в первый раз брали к пасхальной заутрене. Соня с нетерпением ждала этого дня и стояла у заутрени в каком-то необыкновенном, восторженном состоянии. Все ее поражало и восхищало: и необычная ночная служба, и яркое освещение, и радостные напевы, в которых так часто повторялись слова: «Христос Воскресе!» – пока единственное, что она понимала из этой службы. Радовало и новое пышное платье, и сознание того, что она большая, ей уже целых семь с половиной лет. Словом, вернувшись домой, она не слышала

под собой ног от восторга и, несмотря на легкую усталость, была так возбуждена, что нечего было и думать уложить ее спать. Она присела на мамин стул у стола, а мама порылась в левом ящике буфета, который она последние дни держала на ключе, и, подойдя к Соне со словами: «Ну, давай еще раз похристосуемся», – подала ей маленькое, точно голубиное, деревянное яичко с тонким рисунком по красному фону. Внутри яичка лежала брошка – летящая бронзовая ласточка с грушевидной подвеской из аметиста в клювике.

– А это мальчикам, – показала мама, когда Соня вдоволь налюбовалась своим подарком. Яйца, предназначенные для мальчиков, были очень крупные, с одинаковым рисунком, только немного различались цветом. Но, несмотря на свою величину, они не прикрывались, потому что в них лежали маленькие автомобильчики. Это была совершенно новая, никогда не виданная игрушка, и Соня, пожалуй, позавидовала бы ей, если бы сама не получила такой великолепный подарок. А мама опять рылась в картонной коробке от подарков.

– Бабушка еще не получила моего письма, когда посылала посылку, – сказала она странным голосом, – вот посмотри.

В руке Сони очутилось гладкое красное яичко, величиной с куриное, и в нем пушистый желтенький цыпленок, совсем как настоящий.

При взгляде на него восторженное настроение Сони вдруг исчезло. Сразу были забыты и пасхальная заутреня, и новое платье, и брошка, и то, что она большая. Держа в руках маленький пушистый комочек, она горько заплакала, вспоминая светловолосую девочку, которая никогда не будет играть им.

Лицо Евгении Викторовны болезненно дрогнуло.

– Сонечка, деточка, не плачь, сегодня нельзя плакать, знаешь, какой сегодня день, – заговорила она, взволнованно глядя головку дочери. – Пасха, сегодня Христос воскрес, сегодня можно только радоваться, а не плакать. Успокойся, деточка! Тогда и Леночка, глядя на нас оттуда, будет радоваться, ты знаешь, ей там хорошо, много лучше, чем здесь. – Евгения Викторовна остановилась и с трудом глотнула воздух. – А нам, конечно, жалко, что мы ее больше не увидим, но все-таки нужно сдерживаться, особенно в такой день!

Глава 16

Могилки

1913 г.

В этом году дети, а пожалуй, и их мать, в первый раз открыли, что в селе существует кладбище – «могилки», как там называли. То есть, конечно, они знали о нем и раньше, даже ходили туда в те дни, когда там служилась общая панихида, но оно занимало в их жизни не больше места, чем любая дорога, по которой им приходилось проходить. Теперь они постоянно бывали на могилах; это было почти святое место, нечто среднее между церковью и церковной оградой, место, где можно играть, но куда нельзя ходить босиком. Придя туда, нужно, прежде всего, помолиться около Леночкиной могилки (впоследствии этот обычай распространился и на другие знакомые могилки), немного посидеть с мамой около нее, а потом уже можно было идти играть, но непременно бегать только по извилистым тропинкам между могильными холмиками, ни в коем случае не наступая даже на самые старые из них.

Обычай обуваться, идя на могилки, продержался несколько лет и исчез, кажется, еще при жизни матери. Этот обычай исчез, но привычка зайти помолиться перед крестами родных и знакомых и почтительное стремление не оскорбить праха давно умерших, наступив на едва заметный могильный холмик, сохранялись даже тогда, когда на «могилах» кипели

отчаянные бои с индейцами и черкесами и коварный враг подстерегал в каждой ямке. Да и не только тогда, а и гораздо позднее, когда все стали уже взрослыми.

Кладбище находилось очень близко от церкви, нужно было только пройти мимо сада, примыкавшего к ограде, и перейти через дорогу; его даже немного было видно из окон священнического дома. Было оно маленькое, бедное, обнесённое со всех сторон канавой, по валу которой проходил ветхий плетень. В задней, южной, части кладбища плетень довольно далеко отступал за канаву, показывая, что мертвым стало тесно в первоначально отведенном для них месте. Там, у самого плетня, находились три постепенно зарастающие длинной травой ямы разной глубины и крутизны – остатки в разное время осыпавшихся «ледников»²⁷, в настоящее время любимое место детских игр. С западной стороны плетень тоже был на некотором расстоянии сломан, захватывая чье-то опустевшее гумно, – наступление мертвых на живых продолжалось. Но на новом месте долгое время сиротливо ютилась только одна могила, остальных покойников предпочитали хоронить поближе к «родителям».

На всех могилах простые деревянные кресты с прибитыми к ним маленькими иконочками или медными литыми крестиками. Кресты часто покосившиеся, потерявшие одну из своих перекладин, иногда с двумя дощечками, прибитыми в виде крыши от верхушки к концам верхней перекладины и непременно осьмиконечные – никогда не приходится забывать, что в селе треть жителей старообрядцы, а это накладывает особый отпечаток и на быт остальных. Налево от входа красуется небольшой дощатый куб с вершиной в виде низкой усеченной пирамиды, увенчанной небольшим крестиком. Памятник когда-то был покрашен серебристой, теперь потускневшей краской, и на его сторонах до сих пор видны слова: «Здесь покоится прах дорогого родителя и деда Никиты Архипова Страхова». Это местный маляр и бывалый человек Сергей Страхов, по-уличному Мазурин, соорудил такой памятник над гробом своего отца.

Ни кустика, ни деревца. Только от ворот тянется продолговатая прямоугольная лужайка, покрытая яркой зеленью, а весной лютиками и одуванчиками. На этой полянке совершаются торжественные общие панихиды на Пасху и Радоницу, прежде чем служить отдельные, на каждой могилке. Отсюда же, с общей панихиды, начинается и хождение по полям во время засухи. В соседних селах нет таких лужаек, и островцы гордятся своей, ревниво следят, чтобы на ней не рыли могил.

В обычные дни кладбище безлюдно. Постоянными его посетителями являются лишь телята, привлеченные сочной травкой. «Много Бог, много бык», – несколько лет спустя называла кладбище двухлетняя Наташа.

Изредка появится группа людей, провожающих гроб, да какая-нибудь сирота-невеста, по обычаю, придет вечером получить материнское благословение и «вопит» – причитает, обняв покосившийся крест, до тех пор, пока ее чуть не насильно оторвут и уведут домой.

Только одна сторона кладбища выглядит приветливее других, и здесь, направо от входа, на зеленом холмике, примыкающем к заповедной лужайке, схоронили Леночку. Холмик в виде вала тянется вдоль плетня, а за плетнем разросся неширокий, но тенистый фруктовый сад. Громадная яблоня, склонившись, раскинула ветки почти над самой могилкой, и весной розовато-белые ароматные лепестки падают на нее, словно крупные хлопья снега.

На могилке стоит белый крест из круглых кусков молодого дубка. Крест прочный, как памятник; его основание, для предохранения от гнили, обожжено на костре и густо обмазано смолой, а белая краска постоянно возобновляется; детям и крестьянам он представляется верхом роскоши, но таким ли кажется он родителям, привыкшим видеть в городе мраморные и литые чугунные кресты и памятники?

²⁷ Ледник – погреб, где держали умерших от несчастных случаев, ожидающих вскрытия, что случалось, пожалуй, не каждое десятилетие. – *Авт.*

Могилка аккуратно, в форме гробницы, обложена дерном и засеяна сверху овсом. С этого времени, до тех пор, когда отец Сергей сделал прочную оградку, телятам объявлялась беспощадная война. Но вот оградка поставлена и, как и крест, тщательно покрашена. Привезенные из Хвалынского разноцветные анютины глазки пестреют на могилке вместо кудрявой зелени овса, а среди них выделяется крест из незабудок. Во время обычной летней поездки в Самару Евгения Викторовна ухитряется даже привезти венок – крупные жестяные незабудки, несколько нежных фарфоровых белых и бледно-розовых роз и пара веток белой сирени.

Венок, окружающий маленькую иконочку Божией Матери, делал наряднее скромный крест. Но теперь, когда решетка, запертая на замок, защищала могилку от телят, появились новые враги – мальчишки. Метко направленными камушками они постепенно разбили все розы на венке; несмотря на то, что оградка была просторна, а ее дощечки часто сбиты и заострены, как-то ухитрились откручивать тонкие проволоочки сирени, срывать живые цветы. Только толстая проволока скрепленных по несколько штук незабудок еще выдерживала, да и то один раз Евгения Викторовна видела такой пучок на шапке разгуливавшего по селу рекрута. Впрочем, это, кажется, был единственный трофей, попавший в руки разрушителям; обычно обломки падали в густую зелень около креста, и достать их снаружи не было возможности, но хулиганы все-таки продолжали свое дело. Евгению Викторовну это страшно волновало, бредило еще не зажившую рану. Случалось, она плакала, ходила к матерям замеченных ребят, но все было напрасно. Разрушители отступались только тогда, когда все, что можно, было разрушено.

Каждый вечер Евгения Викторовна приходила на кладбище и сидела там, сначала на зеленой траве, потом на маленькой скамеечке в оградке до тех пор, пока наступало время ужина. Да и днем, если ее не оказывалось на обычном месте у стола или в кухне, можно было с уверенностью сказать, что она на кладбище.

– Нельзя так убиваться, Еничка, – пытался уговаривать ее муж, – это даже грешно. Ты же веришь, что Бог взял ее, потому что так лучше для нее. Нужно покоряться воле Божией и не забывать, что у тебя есть еще дети.

– Не могу, Сережа, – беспомощно отвечала она. – Я сама все это знаю, сама Соню успокаивала почти такими же словами, но... не могу.

И действительно, мысли о Леночке завладели всем ее сознанием. Просматривала ли она взятые у соседей для Сони толстый сборник детских рассказов и стихов, ей, прежде всего, бросалось в глаза стихотворение «На смерть дочери», декламировала ли она, по старой памяти, Соне стихи, это опять были стихи об умерших детях; пела ли за работой, и тут чаще всего пелось о лежащем в гробике малютке. Из Самары она привезла ноты – редкий случай, сама она, без поручения мужа, почти не покупала нот. На этот раз она купила романс, который раньше несколько раз слышала от брата Миши: «Дитятко, милость Господня с тобою!» – опять бред умирающего ребенка и слезы матери над ним. Когда Миша К-в исполнял эту вещь на студенческом вечере, одна женщина, недавно потерявшая ребенка, упала в обморок. Перед сестрой Миша не стал петь, отец Сергей, когда она привезла ноты, также отказался. Тогда она сама, потихоньку, по памяти, пела ее за работой, и в голосе, и на ресницах ее дрожали слезы.

– Я не понимаю, – сказала она раз Соне, – как это матушка березовская говорит, что испугалась бы, если бы увидела свою умершую Фаню. А вот я сижу и думаю: если бы сейчас отодвинулась занавеска и вошла Леночка, как бы я обрадовалась!

Кончилось тем, что Евгения Викторовна заболела. Она не слегла, но здоровье ее начало внушать серьезные опасения. Тогда уже не только муж, а и все родные напали на нее, даже и сама она наконец-то взяла себя в руки и начала по-настоящему лечиться. Опытный врач кроме лекарства предписал ей утренние прогулки. С тех пор она вставала утром перед семью

часами, будила Соню, и они тихонько шли за село – на пески, недавно засаженные уже начавшим разрастаться тальником, или на бугор, где стояли три мельницы-ветрянки. Добравшись до назначенного места, они усаживались, доставали принесенный с собой завтрак и с аппетитом закусывали, что не мешало, вернувшись обратно, пить чай и закусывать уже вместе со всеми. Может быть, этот-то пробужденный ранними прогулками аппетит и сами прогулки на чистом утреннем воздухе, когда болтовня возбужденной новыми впечатлениями дочери не давала сосредоточиться на горьких мыслях, и была самым серьезным лекарством, восстановившим силы больной и заставившим ее отчасти забыть свою потерю. Но окончательно успокоилась она только через полтора года, когда в беленькой кроватке, опять придвинутой к ее койке, появилась маленькая Наташа и посмотрела на мать большими синими, как у Леночки, глазами. И недаром ей доставалось столько нежных слов, столько ласковых изменений имени, сколько не доставалось, быть может, даже Соне, когда она была еще единственной. Евгения Викторовна любила Наташу и за нее самое, и за ту, которую она своей беспомощностью, своим детским лепетом все больше напоминала и заменяла.

Невольно вспоминаются слова добрейшего отца Ивана из новиковского «Рождения музыканта»: «...Мы, неразумные, по ушедшим скорбим, а в жизнь шествующих не видим. Невластная она, смерть!»

Глава 17

Отец Серапион

Чуть ли не в первый, во всяком случае не позднее второго года служения в Острой Луке, отец Сергей был выбран депутатом на епархиальный съезд и состоял им до 1913 или 1914 года. Скоро все постоянные участники съездов узнали беспокойного депутата, невзирая на лица отстаивавшего те положения, которые считал правильными, и не боявшегося в самых щекотливых случаях попросить тайного голосования или заявить особое мнение. Вместе со своим старшим другом и единомышленником отцом Зиной Георгиевским, таким же неугомонным, но более опытным, они не раз склоняли духовенство на свою сторону, даже в тех случаях, когда епископ Симеон (единственный из архиереев, пытавшийся оказать давление на съезд) вызывал председателя и «рекомендовал» ему провести то или иное решение. Съезд в таких случаях кипел и бурлил, страсти бушевали, но, случалось, некоторые батюшки не решались голосовать против настойчиво проталкиваемого предложения, не решались поднять руки и за тайное голосование, так как это означало бы, что они придерживаются того взгляда, который неудобно защищать открыто. Предложение проходило, председатель и секретарь съезда подписывали протокол, но отец Зина или отец Сергей заявляли особое мнение, и под этим мнением, расхрабрившись, подписывалось больше половины присутствующих. Вопрос проваливался не просто, а с треском.

Таким образом было провалено предложение о прибавке жалованья противосектантскому миссионеру Алексееву.

Батюшки справедливо рассудили, что Алексеев все равно ничего не делает, а скудные епархиальные средства лучше истратить на пособия нуждающимся вдовам или на новые пальто епархиалкам²⁸, у которых старые стали совершенно неприличными. Зато предложение покрыть линолеумом полы в столовой епархиального училища было отклонено подавляющим большинством голосов, как излишняя роскошь. Не одну сессию кипели страсти вокруг дела отца Альбакринова, заведовавшего свечным заводом и обвиненного чуть ли не в растрате. Победило все-таки предложение двух друзей и их союзников пригласить авто-

²⁸ Воспитанницам епархиального училища.

ритетного эксперта-специалиста. Заключение этого эксперта полностью оправдало Альба-кринова.

Постепенно отец Сергей увлекся другим делом – начал писать в «Епархиальные Ведомости». Далеко не все статьи пропускались. Отец Сергей отчасти объяснял это тем, что его постоянным оппонентом заделался влиятельный в городе протоиерей Меньшов, инспектор епархиального училища. Получив обратно не принятую по таким-то и таким-то причинам (следовали пункты) статью, молодой автор иногда горячился, но не унывал, а садился переделывать ее и снова посылал.

За подобной работой застало его сообщение, что он награжден набедренником²⁹. А вскоре приехал брат Евгений Евгеньевич и рассказал, что их дядя, Серапион Егорович, в то же самое время был представлен к наперсному кресту, но архиерей его вычеркнул.

– Это он из-за меня пострадал, – ахнул отец Сергей и на вопрошающий взгляд отца Евгения объяснил:

– Архиерей прекрасно знает, что есть какой-то беспокойный С-в, который везде сует свой нос. И вдруг представляют к награждению двух С-вых, и у обоих одинаковые инициалы, который же из них Сергей? Ну, конечно, не молодой, которого к первой награде представляют, а более пожилой и более заслуженный. Вот и плакал дядин крест.

– Пожалуй, это похоже на правду, – согласился Евгений Евгеньевич. – А может быть, дядя сам что-нибудь начудил?

– Где? У архиерея или в консистории?³⁰ Что ему делать? Он у соседей чудит, у благочинного, так тот его друг, не обижается. Представил же было к награде.

Отец Серапион действительно пользовался славой чудака. О его выходках рассказывали многие. Были, например, такие случаи.

Возвращаясь ночью из Самары, он заехал к своему другу благочинному, завел лошадь в знакомую конюшню и увидел, что там уже стоит чья-то чужая пара.

– Это из Землянок благочинный приехал, – сообщил вышедший на скрип ворот работник.

«Из Землянок – значит, с отчетом, значит, деньги везет в Самару», – сообразил отец Серапион и, оставив лошадь на попечение работника, обошел дом с противоположной стороны, подошел к окну кабинета, где обыкновенно хозяева устраивали на ночь гостей, и постучал.

– Кто там? – ответил сонный голос.

– Давай деньги!

– Это ты, Серапион! – узнал хозяин. – Неймется тебе! Гостя у меня перепугал.

Второй случай похож на известный анекдот, но ведь анекдоты тоже берутся из жизни. Отец Серапион свел между собой двух своих гостей – заик, не знавших друг друга, и из соседней комнаты наблюдал за тем, как они рекомендуются, а потом возмущаются, каждый думая, что другой передразнивает его недостаток. Хозяин явился как раз в тот момент, когда недоразумение грозило перейти в ссору.

Таким он был известен во всем округе и чуть ли не на всем протяжении большой дороги от Самары до Оренбурга. Ведь все духовенство, проезжавшее по этой дороге, всегда заезжало к нему отдохнуть и покормить лошадей. О его чудачествах много рассказывали, но только самые близкие знали его с другой стороны, и в их рассказах он выглядит гораздо мягче, сердечнее.

²⁹ Четырехугольный плат с изображением креста, который в виде первой награды дается священникам и носится на правом боку поверх облачения.

³⁰ Учреждение при архиерее для управления епархией.

Был когда-то отец Серапион высоким, худющим, длинношеим, нескладным семинаристом. Еще более нескладности придавало ему то, что он, из каких-то своих соображений, наголо брил голову. Жил он не в общежитии, а на частной квартире, вместе с несколькими товарищами. Среди товарищей был некто Петр Вершинский, ничем, пожалуй, и неприметный, кроме того, что у него было еще двое братьев и чуть ли не семь сестер. И вот однажды, когда семинаристы мирно занимались в своей комнате, один из них принес сенсационное сообщение: к Петру Вершинскому приехала сестра, они сейчас сидят в зале у хозяйки. И сестра эта – писаная красавица.

Всякому интересно посмотреть красавицу, особенно если она сестра товарища. Семинаристы под разными предлогами входили в залу, а то и просто, без предлога, переходили через нее из дверей в дверь. Душенька не могла даже понять, одни и те же люди проходят или все разные. Только одного она заприметила и спросила брата:

– Петенька, кто этот страшный, с бритой башкой?

«Страшный, с бритой башкой» оказался ее суженым. Душеньке не хотелось выходить замуж. Не то чтобы она имела что-то против жениха, просто она чувствовала, что не вполне здорова, и мечтала о тихой монастырской жизни.

Несколько лет назад, когда ее старшая сестра только что вышла замуж, молодые отправились прокатиться на пароходе до Казани и взяли с собой пятнадцатилетнюю Душеньку.

Прогулка оказалась неудачной, на пароходе вспыхнул пожар. Все кончилось благополучно, но переполох поднялся страшный. Молодой муж все время ухаживал за перепуганной женой, и, только когда она вполне успокоилась, заметили, что Душенька лежит в глубоком обмороке; вот эта несчастная поездка и погубила здоровье девушки, испортила ее сердце. Но вид у нее был здоровый, даже цветущий, и, когда она заговорила о монастыре, отец не поверил ей, счел ее слова за девичий каприз, за выдумку, чтобы избежать замужества.

– Нет тебе моего благословения в монастырь идти, – ответил он, – будь матерью-христианкой.

Душенька покорилась; вышла замуж и в свое время стала матерью сына и трех дочерей, кроме тех, которые умерли в младенчестве.

Отца Серапиона назначили в Яблоновый Враг (Овраг). Село было небогатое, вдобавок зараженное всякими сектами. Было много молокан и даже хлыстов. Отец Серапион начал энергичную и успешную борьбу и с теми и с другими. Зато через некоторое время на калитке его дома появилась записка:

«Ежели ты, Серапион, отселева не убереешься, жизнь твою прекращу, и ты будешь лишен смерти».

Над формой записки можно было смеяться, но смысл оставался грозным. Много поплакала молодая матушка Евдокия Александровна, умоляя мужа перевестись в другое село, дрожа за его жизнь. Он, конечно, тоже волновался, но перевода не просил и деятельности своей не бросил.

Занимался он и хозяйством. По примеру других снимал землю, засеивал ее, только мало получал выгоды. Рабочих на полевые работы он нанимал втридорога, да еще нужно было их кормить, да еще обманом они у него вытягивали малую толику. А когда хлеб был ссыпан в амбар и продан, деньги начали уходить еще быстрее, чем приходили. Крестьяне, пала ли у них лошадь или корова, нужны ли были деньги на свадьбу сына или на постройку новой избы, – со всякой нуждой шли к батюшке. Он отдавал тому «ненужного» теленка, тому жеребенка; если были деньги, давал займы; если не было, запрягал лошадь и ехал, вместе с мужиком, в Самару, к богатым купцам. Там его уже знали, и, не у того, так у другого он устраивал мужику заем со своим поручительством.

За одной нуждой у мужика появлялось еще десять, деньги редко возвращались в срок. Чаще векселя переписывались или подавались ко взысканию. Тогда приезжали чиновники

из суда, описывали имущество должника, а кстати, и поручителя. Отец Серапион снова ехал в Самару, занимал в другом месте и оплачивал по опротестованному векселю. Мужик постепенно «справлялся» и постепенно выплачивал долг, но отец Серапион успевал наделать еще других. Сомнительно, знал ли он, сколько получал от хозяйства, сколько ему возвращали долгов и сколько он сам уплачивал по векселям вместе с процентами.

Между тем семейство увеличивалось, старшие дети начинали учиться. В доме постоянно был народ. Ночевали приезжие священники, гостили кто-нибудь из многочисленных матушкиных сестер или братьев с семьями.

На Рождество и на лето приезжал брат батюшки, Евгений Егорович, тоже с семьей. Евдокия Александровна тяготилась этой сутолокой, ей не под силу были заботы о гостях. Она постоянно прихварывала и все домашние дела передоверила старой няньке Авдотье. Вдобавок многосемейному отцу ее в свое время впору было только просодержать в семинарии троих сыновей, об образовании дочерей и думать не приходилось, и красавица Душенька осталась едва грамотной. Это ее очень тяготило, она терялась перед матушками-епархиалками, перед женой деверя, Серафимой Серапионовной, окончившей Казанское окружное училище (Вед. Импер. Марии), считавшееся чуть ли не аристократическим. Впрочем, у отца Сергия, ежегодно, до самого рукоположения, гостившего в семье дяди, осталось воспоминание о ласковой, приветливой тете. Особенно об одном случае, когда он, семинарист Сергей, с товарищей Васей Поповым пешком, по колено в воде, перемешанной со снегом, прибрели на пасхальные каникулы в Яблонку. С опасностью для жизни перебрались они тогда через овраг, наполненный рыхлым снегом, под которым бежала вода, и явились на мельницу за селом. Оттуда их, закутав в тулупы, развезли по домам и уложили, под тулупами же, отогреваться. Сергей лежал, наслаждаясь отдыхом и теплом, а тетя Евдокия Александровна, охая и ужасаясь, поила его малиновым чаем с медом и растирала спиртом.

Младшую дочку родители хотели назвать Екатериной, но приглашенный в качестве крестного Евгений Егорович, уже несколько лет как овдовевший, взбунтовался: «Если не назовете Серафимой, ищите другого крестного. Пусть будет вторая Серафима Серапионовна».

Так появилась третья, предпоследняя, Серафима С-ва.

Симе было года три, когда Евдокия Александровна заболела воспалением легких. Земский врач Кряжимский, впоследствии самарская знаменитость, шепнул отцу Серапиону, что надежды на выздоровление нет, да больная и сама это понимала. Пожалуй, она и ничего бы не имела против того, чтобы умереть, если бы не дети. В это время старшему сыну Пανε было лет шестнадцать. Женичке – пятнадцать, Полиньке – десять, Коле – пять-шесть, Симе – три года. Кроме того, была больная рахитом Фиса, которая в полтора года еще не ходила, и грудной Сашенька. Во время болезни матери его пришлось отнять от груди, а чтобы его крик не беспокоил больную, нянька Авдотья отнесла его к своим родным, где он впоследствии и умер. Но Евдокии Александровне и без его плача было от чего волноваться. То и дело мелькали фигурки старших детей, раздавались быстрые, частые шажки малютки Симы.

«Пропадет она без меня, – беспокойно думала мать. – Разве отец за всем усмотрит!»

И она горячо молилась, чтобы Господь продлил ее жизнь еще хоть лет на пять, пока подрастут старшие дети и отойдет от рук Симы.

Настал момент, когда вся семья собралась у постели умирающей. Крошка Фиса сидела в ногах ее кровати, остальные стояли кругом. Отец Серапион начал читать отходную. Снова приехал Кряжимский, для вида, без всякой надежды сделал укол камфары и не ушел, а убежал в соседний дом, к псаломщику Василию Сидоровичу, – не мог смотреть на лесенку детей, которые с минуты на минуту должны были остаться сиротами.

– Я там больше не нужен, – сказал он на вопрос хозяев. Отец Серапион читал отходную... Вдруг умирающая открыла глаза и глубоко вздохнула, словно пробудившись от крепкого сна. Взгляд ее остановился на сидящей у нее в ногах Анфисе.

– А ты все еще здесь? – удивленно спросила она.

Отец Серапион несколько времени, не веря глазам, смотрел на жену, потом тихо спросил, боясь надеяться на совершившееся:

– Что, воскресаем?

– Да, – ответила Евдокия Александровна.

Немного оправившись, она рассказала, что ей явился старичок, по-видимому Николай Чудотворец, и сказал ей, что она проживет еще пять лет (или три года, точно не помню, но именно столько, сколько она просила).

Так и получилось. Ровно через пять лет около Введения она поехала в Самару навестить в училище вторую дочку Поленьку и на обратном пути попала в метель. Целую ночь они с кучером блуждали в поле, промерзли; вернувшись домой, Евдокия Александровна заболела, как и в первый раз, воспалением легких и через несколько дней скончалась.

Ранняя смерть избавила ее от лишнего горя. Покорно похоронив маленьких Сашу, Фису и Колю, она, к счастью для себя, не увидела, как умирал старший сын Пантелеимон. Он уже несколько лет болел туберкулезом и последние годы не учился. Летом он целые дни сидел или лежал в палисаднике, ожидая возвращения своего двоюродного брата-одногодки Сережи, ушедшего удить рыбу или просто так, в село.

– Ну, Сергей, что нового? – нетерпеливо спрашивал он.

Сергей начинал выкладывать деревенские новости, которые собирал специально для больного. Паня то слушал с интересом, то вдруг скептически спрашивал:

– Кто сказал? Баба?

– Баба.

– Не верь!

Неожиданная смерть матери так потрясла юношу, что здоровье его окончательно пошатнулось. Уже и он, и отец, каждый в отдельности понимали, что ему не встать, и каждый в отдельности мучились, не зная, как подготовить другого. Начал все-таки Паня.

– Папа, тебе очень было бы жалко, если бы я умер? – спросил он как-то, когда они были одни.

Еще бы не жалко! Он бы посмотрел на отца в его бессонные ночи! Но отец Серапион ответил мягко и почти спокойно:

– Конечно, было бы жалко, если бы ты был такой, как раньше, крепкий, здоровый. А чем мучиться, как ты сейчас, может быть, лучше и умереть. Смерть христианину не страшна.

– Какой груз ты с меня снял! – с облегчением вздохнул больной. – Папа, причаститься бы мне!.. А через несколько времени попросил:

– Папа, помоги мне! Отец Серапион показал на икону Спасителя:

– Что я могу! Проси Его!

* * *

Отец Серапион остался с тремя дочерьми и приехавшей еще при жизни жены помогать по хозяйству ее двоюродной сестрой Александрой Дмитриевной. Старшая дочь, Женичка, одноклассница Енички К-рой, недавно ставшей женой Сережи, считалась первой красавицей в классе, да и не только в классе. Даже маленькая Сима, бывшая на десять лет моложе сестры, чувствовала это и довольно своеобразно выразила однажды свое мнение. Она долго задумчиво смотрела на розовое, юное личико двадцатилетней красавицы и наконец спросила:

– Женичка, а ведь ты, наверно, в молодости красивая была?

– Я уж не помню, Серафимка, какая я в молодости была, – в тон ей ответила сестра.

Редкая красота способствовала и развитию у Женички капризного, своенравного характера. Ее проказы иногда переходили границы.

В селе почти ежегодно свирепствовала холера, и у всех членов семьи, начиная с младших, было приготовлено неношеное белье и платья на случай смерти. Женичка сшила себе на этот случай белую блузку и голубой сарафанчик и решила обновить их. Она оделась, легла на пол в спальне, сложила руки на груди и послала Симу позвать гостившего у них Филарета, младшего брата Сережи. Филарет вошел в комнату, посмотрел на лежащую и с ожесточением плюнул:

– Тыфу! Пошла ты ко пси! Эта Женичка вечно что-нибудь выдумает!

Скоро подросла и расцвела и Поленька. Любуясь прелестными девушками, знакомые все чаще говорили отцу Серапиону:

– Кому-то ваши красавицы достанутся!

– Красавицы-то красавицы, а до матери все-таки недотянули, – отвечал он.

После смерти Евдокии Александровны хозяйку в доме заменили двое – Александра Димитриевна и Женичка, и это нередко приводило к столкновениям. Александра Димитриевна до переезда к двоюродной сестре «служила у купцов». Она привыкла учитывать каждую копейку, каждый фунт масла, чтобы иметь запас «на черный день», на приданое или хотя бы на свадьбу тем же племянницам, а Женичка хотела наряжаться, блистать, поставить дом на широкую ногу. И обе они, каждая со своей точки зрения, были недовольны бесхозяйственностью отца Серапиона, тем, что средства, и без того небольшие, уплывают у него между пальцев. Женичка, требуя денег на наряды, иногда устраивала отцу бурные сцены, а Александра Димитриевна точила не торопясь, но основательно. Случалось, целыми днями и вечерами толковала она о том, что другие отцы заботятся о дочерях, припасают им приданое, тысячи имеют в банке, а у него до сих пор копейки на книжке нет. Отец Серапион терпеливо молчал, отшучивался, иногда отвечал:

– Моих красавиц и в рубашке возьмут.

Но иногда и ему становилось невтерпёж; он начинал ходить по комнате, напевая какое-нибудь церковное песнопение. А то запрягал лошадь и уезжал куда попало, в поле или к соседним священникам.

Наконец Женичка выбрала себе жениха, красивого, веселого, но, как оказалось впоследствии, пьяницу и дебошира. Несколько лет мучилась с ним несчастная красавица; куда делось ее прежнее своенравие, она сделалась тихой и терпеливой. Наконец, на 35-м году жизни она умерла, заразившись туберкулезом от мужа, которого пережила всего на полгода, и оставив на попечение отца и Симы троих маленьких детей.

В 1913 году, когда отец Серапион неожиданно лишился награды, Женичка была еще жива, а остальные «прелести» его жизни далеко не всем были известны, он прятал их за своими чудачествами. Даже его племянники, с тех пор как обзавелись семьями и перестали ездить к дяде на лето, многого не знали. Если отец Сергей огорчился за дядю, то не потому, что видел в этом деле еще одну неприятность в массе других, а потому, что это была явная несправедливость. Несколько горьких слов в дневнике показывали, до чего он был возмущен и озадачен самой возможностью такого факта. Зато как обрадовался, когда через некоторое время встретился с отцом Серапионом на съезде в Николаевске и увидел у него на груди наперсный крест.

– Дядя, получили, наконец! Поздравляю! – радостно приветствовал он.

Отец Серапион, покосившись на соседей, буркнул:

– Молчи, молчи! Давно пора! И, целуясь с племянником, объяснил:

– Это покойного тестя крест. Отца Александра Вершинского.

* * *

Съезд, на котором встретились дядя с племянником, не был обыкновенным съездом духовенства; его созвали в связи с предстоящими выборами в четвертую Государственную Думу. Выборы эти были многоступенчатыми, и от участников их требовался солидный земельный ценз. Землевладельцы, имевшие указанное количество земли, собирались на «съезды крупных землевладельцев» и избирали на них выборщиков, а затем выборщики, на своих съездах, уже выбирали депутатов. Но был еще третий, вернее первый, этап, «съезды мелких землевладельцев», в число которых входило и духовенство, имевшее в своем пользовании по несколько десятин церковной земли. Исходя из общего, на всех участников съезда, количества земли, они выбирали нескольких представителей на «съезд крупных землевладельцев». То есть если общее количество земли составляло четыре цензовых минимума, выбирали четырех человек, если десять, то десятерых и т. д. Разумеется, на съезде произносились речи, давались наказы. Духовенство больше всего говорило о своем наболевшем вопросе, о назначении жалованья, о том, как тогда формулировалось, чтобы сравнять православное духовенство с католическим и лютеранским духовенством западных областей. Взял слово и отец Сергей – и неожиданно для всех заговорил о том, что жалованье жалованьем, а в первую очередь нужно добиваться наделения крестьян землей.

Оратор не заметил, как при этих словах присутствовавший на съезде пристав вышел из зала, не придавая значения и тому, что еще через несколько времени, уже в конце его речи, тихонько вошел какой-то военный и опустился на одну из задних скамей.

– Что это вы, отец, начальство зря тревожите? – шутливо сказал сосед, когда отец Сергей вернулся на свое место. – Какое начальство?

– Разве вы не видите, исправник явился. Вызвали его, как только вы о земле заговорили, видно, ожидали, что начнутся еще более бунтовщицкие разговоры. Вот я и говорю – побеспокоили начальство.

После этого выступления закончилась карьера отца Сергея в качестве депутата на епархиальные съезды. Больше его не выбирали.

Глава 18

Мама молится

Мама стоит на коленях около кровати и молится. Комната маленькая, изголовье кровати подходит почти в самый угол, где иконы. Перпендикулярно ей, подушки с подушками, установлена Сонина кровать, а на середину комнаты, поближе к матери, почти всегда выдвигается маленькая детская кроватка. Маме негде делать настоящие земные поклоны, как в церкви; кланяясь, она опускает голову на кровать и иногда подолгу замирает так и что-то тихо шепчет. А иногда, наоборот, поднимает голову, даже немного закидывает ее назад – так ей, должно быть, лучше видно иконы, – и глаза у нее делаются большие-большие, и она не просто шепчет, а словно разговаривает с кем-то, что-то рассказывает, просит... А потом крестится широким крестом, крепко прижимая пальцы ко лбу и груди, и опять кланяется до кровати.

Когда Соня была маленькой и мама брала ее спать на свою постель, ей всегда в это время хотелось сесть около мамы и поплотнее прижаться к ней. Ей казалось, что никогда около мамы не бывает так хорошо, как в эти моменты. Мама обнимала ее левой рукой, а правой продолжала креститься. Кланяться с Соней неудобно, но она все равно кланяется, только не замирает, наклонившись головой до кровати...

Вот она высоко откидывает голову, но ничего не шепчет, и глаза закрыты, но какое у нее лицо! Соня не знает слов «умиление», «благоговение», а если бы знала, наверное, именно они и подошли бы сейчас. Еще совсем недавно Соня попробовала молиться так же, с закрытыми глазами, у нее ничего не получилось. А потом ей пришло в голову, что мама просто дремлет; так почему же у нее такое лицо? Когда Соня спросила ее, мама улыбнулась и ответила, что она не дремлет, а с закрытыми глазами лучше чувствует Бога. Как это, должно быть, хорошо, так Его чувствовать!

Сегодня мама реже стоит с закрытыми глазами, зато больше разговаривает и просит и чаще лежит лицом на кровати. Соня знает, почему это. Мама молится о папе. Папа болен. У него начинается та самая болезнь, от которой умерла его мама, когда он был маленький, чуть побольше, чем теперь Соня. Врачи велят ему пить кумыс, и он скоро поедет куда-то далеко, в какое-то место, которое так трудно называется... Бар-ба-шина поляна... Вот!

Мама шьет ему новое белье, а Соня красной бумагой по канве вышивает букву «С» на полотенцах и простынях. Ее немного смущает, что буквы получаются такие большие, гораздо больше, чем на узоре, и, кажется, немного кривые. Но папа и мама говорят, что это ничего, не очень заметно.

Мама молится, а папа сидит у стола и перелистывает тетрадь, которая называется «Записки сумасшедшего». Там у него записаны интересные вещи, он иногда читает их вслух. Там записано про мальчика, который в первый раз пришел исповедоваться. Папа спросил его: «Может быть, ты маму не слушался?» А он отвечает: «Весь день сусуюсь».

Сейчас отцу Сергию не до старых записей. Он берет лист бумаги и начинает писать письмо. Письмо жене. Он благодарит ее за то счастье, которое она принесла ему; просит не отчаиваться в случае его смерти, воспитать детей добрыми, честными и верующими... «Я знаю, что это сумеешь!» И еще несколько слов горячих, ласковых...

Небольшая записочка, но сколько в ней любви, сколько доверия к той, которая сейчас там, за стеной, молится о нем.

Он положит записку в дневник. Если не удастся победить болезнь и он умрет (иногда это случается очень быстро), жена найдет ее...

* * *

Евгения Викторовна умерла на двенадцать лет раньше мужа, записка так и осталась лежать в дневнике. После смерти отца Сергия ее прочитали их дети. В тот раз все окончилось благополучно, не пришлось даже ехать в Барбашину поляну, где тогда еще росла целебная степная трава и стояла кумысолечебница. Оказалось, что кумыс можно достать проще, его изготавливал один татарин в Брыковке, за пятнадцать верст от Острой Луки. А местный кумыс ничуть не хуже, чем в лечебнице, они уже испытали это несколько лет назад. Пришлось только нанять девчонку-подростка, чтобы она через день ездила за ним. А потом Евгения Викторовна научилась делать кефир, настоящий, целебный, заменяющий кумыс, такой же крепкий и пенистый, могущий выбить из бутылки плотно забитую и затянутую проволокой пробку. Отец Сергей, да и все остальные, пили его и в этом году, и в следующем. От начинающегося туберкулеза, которым грозил ему известный врач, не осталось и помина.

Глава 19

Дети

– Посмотрите, воробышек! Это птенчик, он из гнезда выпал.

Воробышек сидел нахохлившись в уголке около завалинки. Казалось, он сильно озяб или испуган своим приключением. Костя протянул было руку, чтобы взять птенчика, но Соня отстранила его:

– Подожди, ты не умеешь!

Осторожно, двумя сложенными в виде лодочек ладошками она взяла воробья и понесла домой. Братишки поспешили за ней, крича в комнату: «Мама, воробышек из гнезда вывалился! Он теперь у нас будет жить, мама, да?»

Птенчика посадили среди пола в зале, насыпали ему крошек пшена, поставили в блюдце воды и расселись на корточках, с интересом наблюдая за каждым его движением. Взволнованные неожиданным происшествием, возбужденно переговаривающиеся, дети сами были похожи на стайку воробьев. Птенчик, вероятно, тоже заметил это сходство; он перестал бояться, расправил крылышки, боком подскочил к самой большой крошке, клюнул ее и весело чирикнул.

– Нужно так назвать его, чтобы было понятно, как он кричит, – волновалась Соня, – он чирикает, как же его назвать? Чириканька... Чиринька. Как-то неудобно... языку трудно...

– Назовите его Чирышек, – с серьезным видом предложил отец.

– Правда! Назовем Чирышек! – Имя всем понравилось, но Евгения Викторовна разочаровала детей.

– Уж ты выдумашь, Сережа, – с легким неудовольствием сказала она. – Дети, ведь чирышек – это такая болячка, разве можно птенчика называть болячкой!

– Нельзя... а какое хорошее имя, – с сожалением отозвалась Соня, а Миша, пропустивший мимо ушей мамино замечание, продолжал прыгать и кричать: «Чирышек, чирышек!»

Именно Миша, маленький, подвижный, с круглой, как шар, головенкой и с круглой невинной мордочкой, больше всех и походил на воробья. Прокофий Садчиков, муж Маши, называл его «кочеток» (петушок). Мальчик почти все время прыгал и очень любил «плясать» под музыку. Конечно, это не была настоящая пляска; просто он делал в такт музыке различные движения руками, головой и, конечно, ногами, ловко приспособившись к любому темпу. Отец Сергей, задумчиво наигрывавший на скрипке или фисгармонии что-нибудь для себя, заметив посреди комнаты маленькую, подвижную фигурку, начинал быстро менять одну мелодию за другой, но не мог сбить плясуна. Однажды, проиграв довольно долго бойкую мазурку, отец Сергей начал брать одну за другой длинные, тягучие ноты, возможные только на фисгармонии, но Миша и тут нашелся: начал плавно изгибаться то в одну, то в другую сторону, наклоняясь чуть не до земли. В другой раз, в Самаре, Евгения Викторовна сидела с детьми в Струковском саду. Вдали играла музыка. Вдруг Евгения Викторовна заметила, что коротенькие, не достающие до пола ножки сынишки подергиваются.

– Что ты делаешь, Миша? – спросила она.

– Я никак не могу удержаться, – беспомощно ответил малыш.

Было у Миши и другое прозвище. Даша, кухарка Юлии Гурьевны, называла его «шептунчиком».

– Придет ко мне на кухню, – вспоминала она, – и начнет что-то быстро-быстро рассказывать, а голосок такой тихенький, я ничего не разбираю.

– Мишенька, – скажу, – говори погромче, я не слышу. А он еще тише зашепчет.

Таким он был тогда: с круглой наивной рожицей, тихим голосом (сохранившимся и у взрослого), живой и упругий, как мячик. Евгения Викторовна замечала, что самым большим наказанием для мальчика было сидеть на одном месте. Наоборот, слабенького, малоподвижного Костю это ничуть не смущало. Посаженный на стул в наказание, он мог сидеть без конца; случалось, и он, и Евгения Викторовна забывали, что он наказан. Поэтому, унимая расшалившихся детей, Евгения Викторовна пугала Мишу тем, что посадит его на стул, а Косте грозила: «Похлопаю». Она никогда не говорила «побью» и действительно не била,

а только хлопала; воздействие было чисто психическое. Такой же психической угрозой являлся ее старый, когда-то переплетенный бархотками, а теперь просто дырявый пояс, висевший в столовой около буфета; мальчики, где-то поймав страшное слово, называли его «ухвоска» (двухвостка) и, провинившись, опасливо поглядывали на него. Но «ухвоска» никогда не пыталась перейти к действию и спокойно пылилась в углу, как молчаливая, но грозная эмблема правосудия.

В раннем возрасте дети, кажется, вообще ничего серьезно не боялись, даже темноты. Когда родители замечали у них признаки этого страха, они затевали какую-нибудь интересную игру в темной комнате, и страх исчезал незаметно. Самой любимой зимней игрой были прятки. В игру вовлекались и няньки, и не успевшие разойтись по домам приятели, и, разумеется, интереснее всего было забраться под кровать в самой темной спальне или за шубы в прихожей. В азарте игры о страхе некогда было вспоминать.

Не боялись дети и грозы, до одного жаркого летнего дня. Когда разыгралась гроза, взрослых не было дома, но это и раньше не раз случалось. Хуже оказалось то, что с детьми осталась тринадцатилетняя нянька Ариша, которая, как выяснилось, сама панически боялась грозы. С первым ударом грома она забрала своих подопечных, забижалась с ними на кровать в темном углу и загородилась подушками. Но подушки не могли закрыть всех, а гроза действительно была редкой силы.

Яркие молнии в темном углу, вероятно, казались еще ослепительнее, а гром, ударявший одновременно с молнией, раскатывался над самой крышей с таким треском, словно вся крыша разлеталась на мелкие щепочки. Но страшнее и молнии, и грома были вскрики Ариши. С бледным искаженным лицом и расширившимися от ужаса глазами она при всяком новом ударе дико вскрикивала: «А! Господи Иисусе Христе!» – и порывисто крестилась. К тому, что во время грозы все женщины, и первой их мама, крестились, дети привыкли чуть не с рождения; в этом не было ничего страшного. Наоборот, это успокаивало. И «Господи Иисусе Христе» тоже многие произносили крестясь, но произносили спокойно, словно читали молитву перед обедом. Аришины же выкрики были так ужасны, что, если бы страх не парализовал рассудок детей, они, возможно, предпочли бы убежать от этих криков во двор, под грозу и ливень.

С тех пор они и стали бояться грозы.

Первое время боялись только свидетели Аришиных безумств, Соня и Костя. Миша просидел грозу на кухне, слушая сказки кухарки Тани, и ничуть не испугался, не боялся некоторое время и после. Но постепенно страх брата и сестры заразил его. Одним из главных препятствий в предпринятой родителями борьбе против страха была именно эта его заразительность. Сколько раз казалось, что один из детей совсем уже перестал бояться. Но вот снова гроза, двое опять дрожат, плачут и жмутся к маме, и третий тоже присоединяется к ним.

Дольше всех боялся грозы Костя. Нервный и впечатлительный, он дошел до того, что, проснувшись утром, прежде всего, бежал на крыльцо посмотреть, какая погода, и неизменно возвращался расстроенный.

– Мама, на небе маленькое облачко, наверное, будет гроза, – говорил он. Или: «Мама, небо ясное-ясное, ни одного облачка, наверное, гроза будет».

Брат и сестра, к этому времени начавшие уже гораздо спокойнее относиться к буйству природы, поднимали его на смех, но он еще долго не мог побороть в себе этого страха. Тем более что лето было грозное и его предсказания часто сбывались.

Избавиться от боязни грозы детям удалось только благодаря планомерной, систематической и упорной борьбе, проведенной родителями.

Больше всего ею занималась Евгения Викторовна. Иногда она начинала с доказательств того, что гроза не столько страшна, сколько красива. Она обращала внимание детей

на разнообразную форму надвигающихся грозowych туч; на то, как одни из них вдруг все освещались, точно от моментально включенной лампочки, скрытой где-то за горизонтом; как другие вдруг прорезывались ярким зигзагом молнии; как далекий гром то глухо погромыхивал, то вдруг раскатывался с треском, словно где-то ломалось и рушилось что-то большое. Попутно учила узнавать расстояние до грозовой тучи, засекая промежуток времени между молнией и громом. Это очень помогло, далекой грозы дети перестали бояться.

Затем заводился разговор о том, что тетя Саня и бабушка Юлия Гурьевна совсем не боятся грозы, а даже любят ее. Попутно отец Сергей давал справку о ком-то из своих родственников, которая во время грозы уходила в мезонин и открывала все окна, чтобы лучше видеть и слышать. Кстати, декламировалось стихотворение «Люблю грозу в начале мая», а если слушатели проявляли хоть малейшее внимание, то и ряд других, к грозе никакого отношения не имевших. Если напряжение усиливалось, то и меры принимались более радикальные. Появлялась на свет интересная книга, из тех, что мама мастерски умела читать. Частенько в это время прочитывался юмористический рассказ Марка Твена «М-с Мак-Вильямс и молния». Иногда вместо книги рассказывались сказки или что-нибудь о прошлом. В эти рассказы включался и папа, и, кажется, в такое время дети в первый раз услышали знаменитую историю о протухших мозгах.

Это случилось, когда папа учился в семинарии. Преподаватель естественной истории П-в задумал оборудовать зоологический и анатомический кабинет. Собрал препараты и скелеты разных животных; раздобыл скелет человека, в первое же время завоевавший такую популярность, его в разных позах и с разных пунктов увековечили семинарские художники и фотографы; на конец выписал откуда-то, чуть ли не из Петербурга, человеческий мозг, или мозги, как предпочитало говорить большинство. А о мозгах заговорили все, начиная с преподавательских жен и кончая швейцаром и истопником. Большое значение придавал им и сам преподаватель, своим отношением, разумеется, и внушивший остальным этот захватывающий интерес. А мозги все не приходили. Начались рождественские каникулы, все, кто мог, разъехались по родным и знакомым, уехал и П-в.

И вот тут-то, как на грех, мозги и прибыли, тщательно упакованные в маленький аккуратный ящик. Ящик внимательно осмотрели и, не распечатывая, поставили на стол в зоологический кабинет.

Несколько дней все шло благополучно, а потом истопник и уборщица начали замечать в комнате запах. Сначала он был чуть заметен, но с каждым днем все усиливался и усиливался. Ясное дело – мозги начали протухать. Слух о происшедшей неприятности быстро распространился. Проще всего было бы вскрыть ящик или выбросить испортившийся препарат не вскрывая. Но без хозяина никто на это не решался. Может быть, он, если не опоздает, сумеет найти какой-то способ прекратить разложение; в спирт, там, опустит или еще что.

А запах становился все сильнее. Из комнаты он проник в коридор; все проходящие мимо слышали его и сначала только крутили носами, а потом стали и зажимать их. Просто невозможно ходить мимо кабинета.

Наконец явился и виновник происшествия. Не успел он войти в семинарские двери, как на него набросились со всех сторон:

– Наконец-то! Уберите поскорее свои мозги, сил нет дышать, они совсем протухли!

– Как? Что? – Виновник происшествия долго не мог понять, в чем дело, а поняв, бесильно опустился на стоявший в швейцарской стул и принялся хохотать.

– Так протухли? – немного успокоившись, спросил он. – Сильно пахнут? Вы слышали? И вы?

– Конечно, слышали. Пойдемте! По коридору пройти невозможно. П-в снова расхохотался.

– Да ведь мозг-то из папье-маше, – через силу проговорил он.

* * *

– Из чего? – переспросил Костя.

– Из картона, как ваши лошадки, – объяснил папа. – Он был сделан из кусочков, чтобы можно было их разбирать и смотреть, как мозг устроен внутри.

Раздавшийся после этих слов детский хохот, вероятно, заглушил бы смех П-ва. Во всяком случае, страх перед грозой он на некоторое время заглушил. А отец Сергей добавил:

– И что еще интереснее, запах сразу исчез. Ни в коридоре, ни в кабинете, нигде и никто его не чувствовал.

–

Это, кажется, называется массовым самовнушением? – тоже смеясь, спросила Евгения Викторовна.

– Кажется, так.

* * *

Было и еще одно средство борьбы со страхом. Детей натолкнули на новое удовольствие – бегать босиком по лужам. Отчасти-то они с этим удовольствием были знакомы и раньше, но оказалось, что приятнее всего бегать по ним под дождем. Сначала выбегали только на маленький дождик, потом на более сильный, наконец не отступали и перед настоящим ливнем. Правда, если начиналась серьезная гроза, детей загоняли домой, а если не большая, они все равно бегали. Евгения Викторовна тоже требовала, чтобы прежде, чем бежать под дождь, дети переодевались в подлежащую стирке одежду. Ведь возвращались они мокрые до нитки и так забрызганные грязью, что приходилось прямо на крыльце мыть ноги чуть ли не по пояс, а потом переодеваться. Но это никого не смущало. Разве только иногда вмешивалась Наташа. Потому что борьба со страхом грозы, а потом новый вид спорта продолжались несколько лет, и за это время Наташа успела не только родиться, но и достичь того солидного возраста, когда можно вмешиваться в чужие дела. Так вот, Наташа слышала, как мама зимой грозила непослушным: «Не буду за вами ухаживать, если вы простудитесь и заболеете!» – и теперь сама с авторитетным видом подавала голос:

– Если будете бегать по дождю и заболеете, мама не будет за вами ухаживать-прихаживать!

* * *

В этой истории есть и еще один заслуживающий внимания момент. Евгения Викторовна, сумевшая блестяще провести нелегкую воспитательную работу и добившаяся того, что дети не только перестали бояться, но и полюбили грозу, сама всю жизнь не могла отделаться от страха перед ней. Много лет спустя после ее смерти, когда все дети были уже взрослыми, отец Сергей сказал однажды, прислушиваясь к следовавшим один за другим раскатам грома:

– А как мама боялась грозы!

– Очень боялась. Она даже не могла спать, если ночью была гроза.

Тут только Соня по-новому переосмыслила некоторые факты. Сколько раз, бывало, просыпаясь во время грозы, она видела зажженную свечу на полочке перед зеркалом и чувствовала, как мама вешает на спинку ее кровати и тщательно просовывает между кроватью и подушкой сложенную в несколько раз большую байковую шаль, детское стеганое одеяльце

или еще что-нибудь в этом роде. Утром оказывалось, что подобным образом закрыты все кровати, и у изголовий, и в ногах. Тогда это казалось Соне вполне естественным. Как от дождя открывают зонтик, так от молнии нужно изолировать все близко находящиеся к людям металлические предметы.

В книге Фламариона «Атмосфера», которую и мать, и де ти любили перечитывать, в главе «Капризы молнии» указываются случаи, когда люди погибали от молнии, ударившей в спинку кровати или другой подобный предмет. Да, тогда Евгения Викторовна сумела обособить свои заботы «по-научному», и только сейчас Соня поняла, что эти «научные» заботы внушались непреодолимым страхом. Но сколько нужно было выдержки, чтобы за все время ни разу не выдать себя детям!

* * *

Когда мальчикам было лет шесть – восемь, утро у них начиналось с возни – борьбы, беззлобной драки. И нередко зачинщиком был Костя, хотя он и знал, что Миша всегда догонит его, повалит, хлопнет – словом, повернет исход борьбы так, как ему захочется. Но у Кости было несколько способов, при помощи которых он мог выйти сухим из воды. Один из них оказывался совершенно непреодолимым для Миши. Выбрав удобный момент, когда брат завязывал ботинки или был отвлечен другим, не менее серьезным делом, Костя хлопал его по плечу и своим неловким, почти ковыляющим шагом спешил в залу, в передний угол. Там он останавливался перед иконами и начинал быстро креститься. Миша отступал; нападать на молящегося даже не запрещалось, а просто было совершенно невозможно. Однажды отец Сергей заметил этот маневр.

– Ты что, новый способ защиты нашел? – строго сказал он Косте. – А ты понимаешь, что таким образом превращаешь молитву в игру, даже в шалость? А о чем ты думаешь, когда вот так стоишь и крестишься? О молитве, которую должен читать, или о том, как ловко обманул Мишу? Ты меня понял?

– Понял, – ответил Костя. – Я больше не буду.

* * *

Еще от одной опасности приходилось тщательно охранять детей. Это были «плохие слова». Мир, окружающий их, был не так уж невинен, он кишел «плохими словами» всех видов, от тех, которые были изгнаны только из их обихода, до настоящих нецензурных. Матушка ужаснулась бы, если бы услышала тот жаргон, который раздавался иногда в кухне. У села свои правила приличия: едва терпя в своей среде человека, который «черным словом ругается», оно гораздо снисходительнее к некоторым выражениям, граничащим с матом; такие слова употребляли даже девчонки-няньки.

Опасность была тем серьезнее, что Евгения Викторовна не могла постоянно ограждать от нее детей, для этого с них вообще нужно было не спускать глаз. Впрочем, возможно, она так и поступила бы, если бы яснее представляла положение.

Но, и не представляя его, она каким-то образом, по-видимому еще в самом раннем детстве, сумела внушить детям, что они должны говорить только тем языком, которым говорят их отец и мать. Может быть, тут сказывалось и то, что их «городской» язык вообще сильно отличался от языка села. По той или иной причине никогда не было случаев, чтобы дети повторили одно из услышанных в кухне нецензурных слов. Слова были совершенно определенно «плохие», но и совершенно непонятные; правильнее всего будет сказать, что дети «слыша, не слышали их». Впрочем, возможно, что сама матушка как-то о них узнала и подобрала более подходящих людей. С некоторого времени эти слова исчезли и в кухне.

А с другими приходилось вести длительную и упорную войну. Она начиналась, кажется, еще тогда, когда Соне было года два. К ее няне Маше часто приходила старшая сестра Анюта. Однажды, не поостерегшись, она за что-то назвала Машу душой. И уже через пару часов Соня, копаясь в своих игрушках, повторяла:

– Папа дура, мама дура, няня дура.

– Матушка ее за это в угол поставила, – сокрушенно рассказывала впоследствии уже пожилая Анюта, – а ведь виновата-то была я!

Когда начали подрастать мальчики, стало еще труднее. Трое ушей услышат гораздо больше, чем один, да и бегают эти уши на трех парах бойких, неутомимых ног. А тут еще кухарка Таня так смешно кричит на своего сынишку:

– Подлая твоя морда!

Эти слова пленили слушателей; они долго крепились, но наконец отправились к маме с петицией. Просили разрешить им говорить: «подложка твоя морда»³¹.

Почему-то мама разрешила. Или она уж совсем изнемогла в борьбе с наступающими со всех сторон «плохими словами», или же у нее был глубокий расчет на то, что слова, потерявшие заманчивость запретных, быстро надоедают. Если так, то она оказалась права.

Очень редко, но все же случалось, что отец Сергей сам говорил «плохое слово». Правда, такое слово было всего на несколько микронов неприличнее хотя бы слова «чирышек», но Евгения Викторовна сразу же настораживалась и предостерегающе говорила: «Сережа!»

– Что «Сережа»?! Ничего тут особенного нет.

Отец Сергей, конечно, умолкал. Он ведь не хотел сердить жену, хотел только чуточку подразнить ее. Но иногда он не рассчитывал заряда, и она все-таки сердилась. Она делала обиженное лицо и демонстративно умолкала. И трогательно было видеть, как он после этого похаживал около нее, заговаривая, всеми мерами старался загладить свою вину. Если «вина» была «серьезная», дело доходило до объяснения в затворенной спальне, и конфликт, длившийся два-три часа, разрешался к общему удовольствию. Кажется, ни разу не случалось, чтобы, рассердившись за обедом, Евгения Викторовна и к вечернему чаю вышла с недовольной миной.

Глава 20

Новый иконостас

В Острой Луке мыли церковь. Ее мыли каждый год, и всегда это являлось довольно крупным событием в однообразной жизни села. Это всегда происходило в ясный летний день, но в такой, когда не было горячих полевых работ. Начинали с того, что от пожарного сарая, расположенного здесь же, на площади, привозили насос и устанавливали его вплотную у церковных дверей. Уже этих приготовлений, которыми занимались сторожа и кто-нибудь из попечителей под верховным надзором отца Сергея, было достаточно, чтобы привлечь народ – зрителей и помощников.

– Ну, кто охотник, подите на мой двор, запрягите Гнедого в бочку, – говорил отец Сергей, и несколько подростков вперегонки бросались выполнять поручение. Привозили еще одну-две бочки, четверо молодых парней становились к насосу, еще несколько человек держали и направляли длинный шланг; водяная струя, с силой вырывавшаяся из него, ударяла в стены, в четырехскатный потолок, соответствовавший крыше, почти достигала до окон в куполе. Обратно вода стекала потоками, сначала грязными, потом все более и более свежими и заливала пол вровень с порогами. Тогда наступала очередь толпы баб с ведрами и

³¹ Подложка – чердак.

тряпками. Они сначала просто вычерпывали воду, потом тряпками собирали ее в ведра, подбирали с пола отдельные лужицы, вытирали насухо. Церковь точно обновлялась. Влажные голубоватые стены блестели, и живопись на них казалась только что законченной.

Ни разу еще церковь не мыли с такой тщательностью, как в конце мая 1914 года. Еще бы! Ведь мыли в последний раз. Прошлой осенью был заказан новый иконостас, скоро его привезут, и нельзя будет допустить, чтобы на него попала хоть капля воды, не только грязной, но и чистой. Новый иконостас был давнишней мечтой отца Сергия и его прихожан, но не так-то легко добиться исполнения мечты. Начать с того, что каждый церковный староста и каждый состав попечителей хотели оставить в церкви память именно о своей работе. Выбирали их на год, и, хотя многие так и продолжали работать бессменно с тех пор, когда в первый раз удостоились этой чести, кто знает, выберут ли их еще? Поэтому, подсчитав незадолго до перевыборов сэкономленные за год деньги, всякий раз старались приобрести что-то: новые хоругви, облачение, большое распятие или что-нибудь подобное. Но все это были сравнительно мелкие и недорогие приобретения; для больших расходов требовалась более длительная экономия. Несколько лет назад отцу Сергию удалось уговорить очередной состав попечителей, доказать им, что накопленная ими, для местных средств довольно крупная сумма, предназначенная для определенной, серьезной цели, аттестует их работу не хуже, чем риза или хоругвь, да еще даст им славу начинателей большого дела. Тогда на скопленные в течение двух лет средства расписали церковь внутри. На иконостас собирали года три, если не больше. Зато, заказывая его, выбирали то, что хотелось, не имея необходимости жаться из-за нескольких лишних десятков рублей.

Осенью 1913 года у отца Сергия то и дело появлялись новые люди – подрядчик из Саратова, художники-иконописцы, резчики по дереву. Посылали за старостой и попечителями, раскрывались альбомы образцов, и начиналось неторопливое, детальное обсуждение. После долгих колебаний в выборе икон остановились на копиях иконостаса Духовской (Филаретовской) церкви Троице-Сергиевой Лавры. Особенно понравились всем образа Божией Матери и пророка Илии. Пророк был изображен, по-видимому, в один из моментов ожидания Господа – «и по трусе – ветр»³² или после своей знаменитой молитвы о дожде. По небу неслись тяжелые, свинцовые тучи, именно неслись, это было заметно; пальмы на заднем плане гнулись от сильного ветра; одежда и волосы пророка развевались, длинная борода отклонилась в сторону. Именно таким и должен был выглядеть этот пророк, пророк-ревнитель, по молитве которого заключалось и отверзалось небо, шел дождь и разделялся Иордан. Отец Сергий надеялся, что и выполнение заказа не разочарует его, посмотрев несколько привезенных иконописцем образцов его работ, он убедился, что это мастер своего дела.

И деталями заказа батюшка был доволен. Хоть и с трудом, ему удалось убедить попечителей, что лучше заказать иконы на живописном фоне, а не на золотом, как хотелось некоторым. Почувствовав в руках деньги, они заговорили было, что и иконостас нужно сплошь позолотить, но и тут восторжествовало мнение отца Сергия, доказывавшего, что покрытая позолотой резьба лучше будет выделяться на белом фоне. Если бы он решал один, он уменьшил бы и количество этой резьбы, и позолоты, а иконостас выглядел бы легче и изящнее; но приходилось в чем-то и ему делать уступки.

С первыми пароходами послали представителей в Саратов, проверить ход работы. Те вернулись довольные: работа понравилась, дело подвигается быстро, обещают после Петрова дня приехать ставить иконостас.

Начались приготовления: помыли церковь внутри, наняли маляров покрасить снаружи. Нельзя и без этого. Просто неприлично было бы, если бы поставили новый дорогой иконостас, а снаружи церковь стояла бы обшарпанная, пропыленная. А могло случиться, что

³² Искаженная цитата. См.: 3 Цар. 19: 11–12.

крыша где-нибудь и проржавела, и осенью или весной на новый иконостас начнет капать. Да братья Страховы, или Мазурины, как их чаще называли, Мемнон и Сергей Никитичи, не только маляры, но и кровельщики; где нужно, они и железо сменяют. Около церкви быстро соорудили леса, повесили люльки, маляры принялись за работу.

Проходя в церковь на требу, отец Сергей увидел Сергея Никитича внизу, около лестницы. Бывалый мужик, любивший и почитать, и поговорить с умными людьми, стоял с необычным для него растерянным видом и внимательно рассматривал карманные часы.

– Что ты смотришь, Сергей Никитич? – мимоходом спросил отец Сергей. Маляр поднял глаза. Видно было, что он очень взволнован.

– Маленький случай со мной сейчас случился, батюшка, – заговорил он, – а очень интересный. Сидел я сейчас в люльке, вон там, на самой вершинке, купол у колокольни красил. Ты знаешь, я там, на куполе, сверху, и без люльки могу, как на ровном полу, голова не закружится. А тут вдруг чего-то посмотрел вниз, и вздумалось: а что, если отсюда сорваться! Ни одной косточки целой не останется! Подумал, наклонился, смотрю. И вдруг у меня из кармана часы выскочили, цепочка, что ли, перетянула, и – вниз. Я и слезать не хотел, все равно, мол, ничего не соберу, крышка и та, наверное, вдребезги разлетелась. Все-таки слез, а они вот. – Сергей Никитич протянул часы. – Даже не остановились, и стекло не разбилось. Только что не словами мне Господь сказал: если Он не допустит, с любой высоты можно слететь и не разбиться.

Воспользовавшись свободным временем, оставшимся до начала работ с иконостасом, отец Сергей решил навестить овдовевшего год назад брата Евгения Евгеньевича и вместе с ним проехать к дяде Серапиону Егоровичу. За тем числился изрядной давности должок, а деньги сейчас были позарез нужны.

Отец Сергей уважал и любил брата.

«Евгений гораздо умнее меня», – не раз говорил он, а в затруднительных случаях мечтал: «С Евгением бы посоветоваться!» Увидев в окно знакомый высокий тарантас брата, он на полуслове обрывал любой разговор и со всех ног бросался отворять ворота.

Но виделись братья редко, мешали разделявшие их восемьдесят верст дороги на лошадях. Еще сами они ездили время от времени, а матушки их побывали у родственников раз другой, пока не обзавелись детьми, и больше не смогли: семья, хозяйство, а то и сами нездоровы, куда тут такой путь.

Евгений Евгеньевич несколько раз приезжал с дочкой Симой, и отец Сергей тоже решил взять с собою Соню, которой исполнился девятый год.

Холодом, запустением пахло на гостей от осиротевшего дома. Не было ни привычного в своей семье детского шума, ни каждое лето, со смехом, шутками, пением толпившейся здесь молодежи, родственников мужа и жены. По комнатам бродила только переселившаяся к внукам старая бабушка Наталья Александровна, да сестра Надя, приехавшая погостить во время каникул, выбивалась из сил, стараясь развлечь скучающую Симу, а теперь заодно и Соню. Даже Лелечка, сестра покойной Марии Андреевны, учительствовавшая в романовской школе, во избежание сплетен, переехала в школьную квартиру. По той же причине пришлось уволить постоянную прислугу, и на кухне кое-как управлялась приходящая.

Как легко, по сравнению с этим унылым домом, дышалось среди полей, на которых цвели, а где и наливались хлеба. Выросшая в пшеничной полосе, Соня в первый раз видела, как растет рожь, такая высокая, что из-за нее не видно было повозки с лошадью, едущей по пересекающему их дорогу проселку; разве чуть-чуть мелькнет краешек дуги.

Дорожа каждым часом, который можно побыть вместе, братья ехали в одном тарантасе, и девочкам пришлось сидеть на дне экипажа, поставив ноги на его широкие крылья. Пока не выехали на большую дорогу, удивившую их своей шириной, можно было, припод-

нявшись и ухватившись за прочную железную скобу, сорвать несколько колосков, склонившихся на самую дорогу.

Столько людей высыпало в Яблонке встречать неожиданных гостей, что девочки не сразу разобрались в незнакомой родне. Из всех выделялся, конечно, дедушка Серапион Егорович, высокий, худой, с длинной и узкой седой бородой, как на изображениях святого Григория Богослова. Потом обозначились тетки, Поленька и Сима – совсем еще юная, хотя она и была уже учительницей в местной школе. За ними маячили еще какие-то женщины, по-видимому, Александра Дмитриевна, нянька Авдотья и одна из племянниц покойной Евдокии Александровны.

Сима походила на отца и не отличалась такой красотой, как старшие сестры, но была розовощекая и миловидная. Девочек очаровала та непосредственность, с которой она вечером носилась с ними по лужайке около дома, с увлечением, как равная, играя с ними в горелки. И окончательно пленила их ее украшенная блестками шапочка. Поленька, сравнительно недавно вышедшая замуж, приехала с мужем. Муж ее, скромный, добродушный молодой диакон, не мог в свое время, из-за недостатка средств, окончить семинарию. Теперь, благодаря тестю, помогавшему молодой паре, он опять поступил туда в пятый класс и усиленно занимался, всеми силами стремясь получить священство.

Новый дядя Миша девочкам тоже понравился, хотя он, кажется, и стеснялся их не меньше, чем они его. Зато здесь, в Яблонке, имевшей, как и Острая Лука и Романовка, только какие-то несчастные лавчонки, торгующие самыми необходимыми для сельских жителей товарами, он сумел разыскать для девочек подарки. Правда, подарки эти имели такой жалкий вид, что он постарался сунуть их так, чтобы даже жена не заметила. Это были крохотные, чуть покороче и чуть пошире косточки домино, с позволения сказать, плитки шоколада. У них была блестящая, прозрачная, как желатин, зеленая обертка, а к обертке прикреплена колода карт, такого же размера, как и шоколадка. Колоды оказались разрозненными, без фигур, хотя с полным комплектом двоек и троек, а сами «шоколадки», чуть только превосходившие толщиной карту и изготовленные из сырья очень сомнительного качества, вдобавок, вероятно, не один год пролежали на полках яблонской лавчонки. Соня не знала, что сделала со своим подарком Сима, а сама она, добросовестно попытавшись съесть невиданное лакомство, кончила тем, что старательно смяла его и бросила за сундук; ей не хотелось, чтобы новый дядя заметил, что его подарок не понравился. Девочка вполне оценила его искреннее желание сделать им удовольствие, и, именно потому, что эта попытка была так беспомощна и безнадежна, она произвела на нее гораздо большее впечатление, чем могла бы произвести в Самаре великолепная, в палец толщиной, плитка настоящего шоколада, купленного в лучшей кондитерской.

Обед подали двойной: мужчинам постное, а девочкам приготовили что-то скоромное.

– Уж вы разрешите Соне, Сергей Евгеньевич, – чуть не заискивающе попросила Александра Дмитриевна. – «Сущим в пути пост отменяется».

– Гм... сущим в пути... – Отец Сергей поморщился, но сказал: – Ну уж ладно, на один день. Но от предложенных ему печеных яблок с сахаром наотрез отказался.

– Не ем до Преображения. Здесь же меня научили. И крепко научили.

– Кто научил? Я? – удивился отец Серапион. – Что-то не помню.

– Не вы, а певчий тут у вас был... Помните, еще очень любил на пятый глас петь... Мы ведь тогда яблоки начинали есть, чуть они вишню перерастут, а он мне все толковал: по Уставу нельзя до Преображения. А я спорю, говорю, что нигде такого запрещения нет. Покажешь, мол, тогда не стану есть.

– И покажу, – обещал он. – Только чтобы тогда не пятиться.

Прихожу я на Преображение в церковь. Сами знаете, как у вас здесь бывает. Яблоков натащили вороха, да всякий старался самых лучших принести. А мой противник подсовы-

вает мне книгу, где черным по белому написано, что яблоки до Преображения есть не разрешается, а кто не выдержит, тот от Преображения до сентября не должен есть. Я прочитал и говорю: «Ну, что же, если написано, значит, правда».

– И не ел до сентября?

– Не ел, – ответил отец Сергей.

– А до сентября-то уж во всей Яблонке свежего яблочка не осталось, – посочувствовала Авдотья.

– Почти что так. Да с сентября у нас в семинарии занятия начались, все равно я уехал.

* * *

Как ни высоко ставил отец Сергей ум и способности брата, он не соглашался с ним беспрекословно, а всегда имел свое мнение. Стоило им сойтись вместе, как у них сейчас же начиналось обсуждение различных случаев пастырской практики, того, как поступать в том или ином случае. Много спорили, рассуждали о том, что можно пропускать в богослужении.

Было вполне ясно, что длинные уставные службы, так трогательно совершающиеся в монастырях, слишком тяжелы для мирян, особенно в селах летом, в страду. Их неизбежно приходится сокращать, но что можно сократить с наименьшим ущербом? Братья могли говорить на эту тему часами, хваля и цитируя каждый свои любимые псалмы и стихиры. Они редко соглашались, что без того-то и того-то можно обойтись, зато каждый твердо знал, без чего ему обойтись невозможно.

В этот раз разговор постоянно возвращался к планам отца Евгения на будущее. Когда-то он окончил семинарию вторым учеником, был отправлен на казенный счет в Академию и не остался там – стосковался по дому. Теперь он опять подумывал об Академии; это путь многих рано потерявших жен священников. Для этого нужны средства, да дело не столько в них, тут можно найти выход. Но придется на несколько лет расстаться с Симой. Конечно, родных много, девочку ни в одной семье не обидят, а от отца она отвыкнет. И ее жалко, и самому тяжело.

Постепенно разговор принял отвлеченный характер. Заговорили о том, может ли быть дано человеку испытание свыше его силы. Отец Евгений горячо доказывал, что да, и приводил в пример себя и себе подобных. А отец Сергей осторожно, чтобы не бередить еще свежую рану, возражал. Конечно, некоторые испытания очень тяжелы, но, если они посланы человеку, значит, этот человек достаточно силен, чтобы выдержать то, чего не смогут другие.

А если у него не хватает сил, то есть, говоря словами отца Евгения, дальнейшее испытание становится свыше его силы, то человек умирает и испытание кончается.

Отец Серапион только изредка вмешивался в разговор, он больше сидел и слушал. О чем он думал в это время? Вспоминались ли ему прошедшие годы, когда эти его племянники, тогда еще подростки, вместе с его сыном вот так же горячо обсуждали заинтересовавшую их тему; когда его дочери были вот такими же, как эти две худенькие стриженные девочки, внимательно следящие за разговором взрослых? Или, может быть, вспоминались те тяжелые дни, когда он только что потерял жену. Ведь вынес же, не запил, не свихнулся; правду говорит Сергей, испытание по силам.

* * *

В будущем отцу Серапиону готовилось еще не одно испытание. Пережив дочь и двух зятьев, он наконец одиноко умер вдали от родных, и ни один даже чужой человек не присутствовал при его последних минутах. Отец Серапион умер в 1927 или 1928 году в Балакове, в ночь на 6 декабря, память святого Николая Чудотворца, которого он так почитал. Незадолго

до того он проводил гостившую у него дочь Симу. Вечером возвратился от всенощной из церкви, в которой заменял псаломщика, а ночью его квартирная хозяйка слышала в комнате постояльца какое-то царапанье. Она прислушалась. Царапанье повторилось еще и еще раз.

– Старик! – окликнула хозяйка. Она была злая поморка³³ и никак не хотела называть своего постояльца батюшкой. – У тебя в комнате мыши скребутся, пугни их!

Отец Серапион не ответил. Войдя утром в комнату, хозяйка увидела, что он лежит на постели мертвый.

По-видимому, рассказывала она приехавшей на похороны Серафиме Серапионовне, он почувствовал себя плохо, опустил руку с низкой кровати и начал скрести пальцами об пол, надеясь привлечь к себе внимание. Но хозяйка не поняла его зова, и он умер один.

* * *

Хоть Острая Лука и считалась, вежливо выражаясь, небогатым селом, но были и еще много беднее. Отец Алексей Вилков, время от времени приезжавший в Острую Луку погостить к родственникам, услышав разговоры о новом иконостасе, обратился к «старикам» с просьбой пожертвовать старый к ним, в Свиное Болото. В селе с таким неприглядным названием он прослужил несколько лет, и церковь там была до того бедна, что даже старый остролюкский иконостас обрадовал жителей. К тому времени, как саратовские мастера приехали разбирать иконостас, явились и они с подводами. Бережно принимали и укладывали они старые доски, покрытые хоть и добротной, но все же местами пооблупившейся темно-голубой краской, потускневшие, когда-то давным-давно посеребренные, планочки-карницы; такие же потускневшие, сделанные неопытными деревенскими резчиками, головки херувимов и темные, старинного письма иконы. Все это выглядело таким древним, гораздо старше самой церкви, что невольно наводило на мысль, не был ли этот иконостас в свое время и в Острую Луку пожертвован из какого-то другого, более богатого прихода. Некоторые старики как будто что-то и вспоминали об этом. Но и этот иконостас отдали не полностью. Три иконы в нем, Спасителя, Божией Матери и Николая Чудотворца, были совсем другого вида, в окладах, конечно, не серебряных, может быть, даже не посеребренных, а просто белой жести. Их обыкновенно брали, когда ходили на иордань и молебствовать о дожде, для этой цели их и сейчас оставили. Да и нельзя же оставить церковь без освященных икон на все довольно длинное время, пока устанавливается новый иконостас. Как только был поставлен первый ярус его, иконы тотчас же прикрепили в пустые проемы будущих местных образов, и там они стояли до окончания работ.

Зато запрестольный образ в бедное село отдали, а он и при новом иконостасе не испортил бы впечатления. На нем был изображен Спаситель с Божией Матерью и Иоанном Предтечей по сторонам. Написан он был в мягких тонах, точно весь покрыт легкой дымкой, а красная одежда Богоматери и особенно голубой хитон Спасителя имели особенно мягкий оттенок. Когда пели «Свете тихий» и алтарь наполнялся голубоватым облаком кадильного дыма, казалось, что изображение Спасителя не просвечивает, а возникает из этих голубоватых клубов, пронизанных золотыми лучами заходящего солнца. Было жалко расставаться с такой иконой, и в то же время приятно, что в бедную церковь села, называемого Свиным Болотом, проникнут свет и радость, навеваемые этой иконой.

Образа для иконостасов еще далеко не были готовы, когда столяры приехали ставить его основу, но это никого не смущало. Для большей аккуратности иконостас должны были золотить на месте, на это потребуется немало времени, и иконы успеют дописать.

³³ Принадлежала к поморскому толку – одному из направлений в старообрядчестве.

Отец Сергей никогда не мог пассивно наблюдать за тем, как другие работают. Когда несколько лет тому назад расписывали стены церкви, он, договорившись с художниками, самостоятельно написал в куполе образ Николая Чудотворца. Немного позже, когда художник заканчивал самую ответственную работу, «Тайную Вечерю» над алтарем, приезжие батюшки, отец Евгений и отец Григорий Смирнов, заметили в иконе неприятный дефект: одна щека у апостола Иоанна Богослова была значительно больше другой, словно припухла. Предстоял неприятный разговор; иконописец был чрезвычайно щепетилен в вопросах, касавшихся его репутации, но оставить так было невозможно. Выждав, когда мастер уйдет обедать, отец Сергей сам полез на леса и исправил щеку.

Сейчас он деятельно помогал мастерам, прибавившим колоночки и резные украшения к белой, блестящей, как слоновая кость, основе иконостаса; временно отступил, пока занимались шпаклевкой, здесь легко было исказить рисунок, а когда алебастр просох, энергично занялся грунтовкой.

Затем начался самый процесс позолоты. Насаженным на короткую ручку павлиньим пером мастер покрывал тонкий золотой листик, заложенный между листками папиросной бумаги, поднимая прилипшее к перу золото, ловко укладывал его на покрытый клеем кусочек резного карниза, чуть заметно похлопывал пером, чтобы золото плотно легло по изгибам резьбы; брал другой. Медленная работа тянется день за днем, за ней начинается еще более медленная – полировка. День за днем трет мастер маленьким костяным инструментом выпуклые части рисунка, и от сочетания полированной и матовой поверхностей тот становится еще рельефнее. Отец Сергей сидит рядом с мастером и тоже полирует. Руки у них заняты, но мозг, язык и уши свободны. Они разговаривают.

– Наша церковь многострадальная, – рассказывает отец Сергей. – Строили ее как холодную, потом через некоторое время решили отопить. Поставили печи, обшили, засыпали, и вдруг купол начал оседать – не рассчитали нагрузку. Пришлось ставить колонны, укрепили и купол, и крышу. Дальше начали подумывать о штукатурке.

Сергей Мазурин с братом, маляры и кровельщики, на десятки верст кругом красившие все церкви, предложили штукатурить не алебастром, а золой; Сергей где-то видел, как это делается. Идею обрадовались, еще бы, даровой материал. В воскресенье объявили в церкви; бабы натащили столько золы, что потом вывозить пришлось. Оштукатурили, довольны. А немного погодя штукатурка начала отваливаться, да не как-нибудь, а крупными кусками: того и гляди кому-нибудь голову проломит, грохнувшись с такой высоты. Попечители за голову схватились, не знают, что делать. Отбивать и штукатурить снова – трудно, штукатурка крепкая, как мрамор, а кто ее знает, где ей в следующий раз вздумается отвалиться.

Надумали обить все картоном. И сейчас еще несколько листов осталось. Прочный, глянцевый, больше полусантиметра толщины, прессшпан, кажется, называется...

– Есть такой.

– Ну вот, обили им, покрасили, как будто все в порядке. Так нет, гвозди ржавесть начали. Чтобы картон не отдувался, гвоздей не пожалели, а ржавчина теперь все проступает и проступает. И красили не раз, и расписывали, а опять все пестрое.

Отец Сергей широким жестом обвел стены и купол церкви. Действительно, везде: и на голубоватом фоне стен, и сквозь живопись – проступали симметрично расположенные темные пятна, снизу казавшиеся точками...

– Ничего. Как будто это нарочно сделали, вроде мозаики, – успокоил мастер. – Есть такая работа, редкая, правда, а я видел, сверх живописи легкая золотая сетка наводится. А у вас вроде бы темным такую сетку сделали.

– Разве только так, – улыбнулся и отец Сергей.

1914–1920

Глава 21 Война

Война, начавшаяся в самый разгар сборки иконостаса, отразилась на этой работе только тем, что подрядчик, ввиду удорожания материалов и рабочих рук, попросил прибавки к прежде намеченным четырем тысячам. В селе же война поставила вверх дном всю жизнь. В первые же дни была проведена мобилизация, а затем, время от времени, вновь разносились грозные слухи: «ПРИЗЫВАЮТ такой-то год... такой-то...» У пожарного сарая, где собрались перед отправкой мобилизованные, стон стоял от бабьих причитаний, от истерических криков. Отец Сергей попробовал было успокоить одну-другую, но вскоре понял бесполезность своих попыток; против него были и непритворное, жгучее человеческое горе, и обычай, требующий выражать это горе как можно экспансивнее. Попрощавшись с близкими ему новобранцами, он ушел домой и, стоя у окна, наблюдал тяжелую картину.

– Батюшка! – окликнул его женский голос.

Оглянувшись, отец Сергей увидел женщину, которую в первый момент даже не узнал. Она жила на дальней окраине села, в церкви стояла в самой гуще народа, а когда батюшка заходил к ним в дом с молебнами или еще по какому-нибудь делу, скромненько держалась в стороне.

Сзади женщины застенчиво жался совсем еще молоденький паренек.

– До вашей милости, – чинно сказала вошедшая, поздоровавшись и дождавшись обычного: «Что скажете?»

– Племянника привела, сироту, ни отца, ни матери у него нет. Так уж ты, батюшка, благослови его вместо родителей!

– Что же! Проходите ближе к иконам, помолимся!

Отец Сергей прочитал несколько кратких молитв о благополучном возвращении, снял со стены маленький образок Смоленской Божией Матери и обернулся к парню.

– Дай Бог тебе вернуться живым и здоровым, – сказал он. – Служи честно, жителей, где воевать придется, не обижай, они и так войной обижены. Подумай, если бы твоих родных здесь какие-нибудь солдаты обидели. Богу молиться не забывай, особенно в опасности. Он тебя сохранит. Господи, благослови... – Отец Сергей поднял образок.

– В землю кланяйся, в землю, как родителям, – взволнованным шепотом подсказывала женщина. Парень поклонился. Отец Сергей истово осенил его образком и дал приложиться. У всех троих на глазах стояли слезы.

– Подождите!

Из письменного стола отец Сергей достал прочный шелковый шнурок, продел его в ушко образка, надел парню на шею. Женщина дрожащими пальцами помогла племяннику застегнуть ворот. Через открытое окно донеслись крики, показывающие, что проводы вступили в последнюю фазу.

– С Богом!

Отец Сергей еще раз благословил юношу, потом женщину, проводил их на крыльцо и, постояв, пока за ними захлопнулась калитка, вернулся к окну.

Захолустное село жило войной: письмами, слухами, газетами. От слухов веяло отзвуками далеких боев.

– Белобилетников на комиссию отправляют!

– Одинцов берут!³⁴

– Ратников ополчения призывают!³⁵

В первые наборы мобилизовали выращенных отцом Сергием певчих – Григория Яшагина, Михаила Чичикина, Никиту Амелина. С одинцами ушел Сергей Прохоров, сын покойного сторожа Евсея Прохоровича. В число ополченцев попал сторож Ларивон.

Церковные сторожа были близки к отцу Сергию не только по своей основной работе. Он еще платил им за уборку двора и уход за скотом, и они частенько возились на батюшкином дворе. Добродушный Ларивон был другом ребят.

– Ларивон, куда едешь, – кричали дети, заметив, что он подмазывает колеса бочки.

– В Сызрань, – серьезно отвечал он.

– Нет, за водой! Возьми нас!

– А матушка отпустит? Матушка отпускала, и Ларивон чинно шел около бочки, облепленной пассажирами.

Прощаться Ларивон пришел необыкновенно тихий, ласковый, с какой-то странной, точно смущенной, улыбкой. Хотелось плакать, глядя на него. Когда он, перецеловав всех детей, ушел, мама сказала в ответ на выраженное Соней удивление:

– Бывает, человек улыбается, чтобы не заплакать.

Сергея батюшка узнал еще раньше, чем Ларивона. Евсей Прохорович работал сторожем в первые годы служения отца Сергия в селе, а сын помогал отцу. За год или за полтора до этого он женился на красивой молодой вдовушке с горячими карими глазами, и у них была маленькая дочка Дуня, месяца на два, на три моложе Сони. Уезжая на войну, Сергей оставил уже троих детей.

Сергей очень был похож на отца, такой же высокий, широкоплечий, с мягкими голубыми глазами и слегка выющимися, подстриженными в кружок волосами; только у старика волосы были седые, а у Сергея русые. И голос у него был тихий и мягкий, и характер как будто тоже, но в доме он был голова. Бойкая, ловкая на работу Паша подчинялась ему беспрекословно.

Солдаты слали женам письма, приписывая и батюшке поклоны. В разлуке они быстро взрослели. Ушла молодежь, с ней почти не считались в «мирских» делах, часто звали полуименем. А через несколько лет возвратились солидные мужики, опора села, которых иначе не назовешь, как по имени и отчеству. И Сергей тоже превратился в Сергея Евсеевича.

* * *

Впечатление тяжелого несчастья, обрушившегося на страну, которое люди испытывали в первые дни войны, постепенно становилось привычным. Острое горе разлуки с близкими притуплялось, то почти совсем стихая, то опять обостряясь, как при хронической язве. Несмотря на то, что где-то шла война, жизнь села двигалась по тем же путям, что и раньше. Люди занимались своими обычными, необходимыми делами. Среди забот отца Сергия одно из первых мест занял вопрос, беспокоивший его что ни дальше, то сильнее, – вопрос о хлыстах. Несколько лет он наблюдал за Гаврилой Егоровичем, или Гавришей, крестьянином из Брыковки, верстах в пятнадцати от Острой Луки. Для неопытного глаза он ничем не отличался от других религиозных крестьян: часто ходил в церковь, любил поговорить в компании «о Божественном», пожалуй, поучить. В каждом селе есть такие. Но наметавшийся еще в прежнем приходе взгляд отца Сергия быстро различил едва заметный пересол в его мягких

³⁴ Одинцом назывался единственный мужчина в семье или последний немобилизованный сын старых родителей. Их освобождали от военной службы для прокормления семьи. – *Авт.*

³⁵ Ратники ополчения, или ополченцы 2-го разряда, – запасные старших возрастов. – *Авт.*

до вкрадчивости манерах (впоследствии, когда дело пошло начистоту, вкрадчивость заменилась грубостью), в подчеркнутом, показном благочестии, в слащавом, то поучающем, то чересчур покорном тоне. Притом обыкновенные богомольные мужички тихонько сидели в своих селах, вели дружбу с такими же степенными соседями, а если даже и имели слабость поучить других, то делали это у своих же друзей и соседей, около церкви, в ожидании начала вечерни, или на лужайке около своего дома, даже на покосе, но никогда не ездили для этого в чужие села и не собирали специально около себя людей. А Гаврила Егорович нет-нет да и наведается в Острую Луку, а то в Березовую (село рядом, все друг про друга известно), и сейчас же хозяйка, у которой он остановился, забегает, собирает «на беседу». Знающих сектантские обычаи настораживало и то, что немолодого уже мужика, несомненно, ценившего почет, его поклонницы, именно поклонницы, а не просто знакомые, называют Гавришей; одно это о многом говорило.

Отец Владимир Аристовский, служивший в Брыковке, и отец Василий Карпов, из соседнего с ней села Никольского, с уверенностью называли Гавришу хлыстом; отец Сергей тоже почти не сомневался в этом, но доказательств не было. Хлысты тем и держатся, что на виду у непосвященных подделываются под православных. Даже на «беседах», при помощи которых они вербуют себе сторонников, на первый взгляд нет ничего особенного. Разговаривают «от Писания», поют духовные стихи. А что в них? Этого, батюшка, не расскажешь, для этого их нужно заучить наизусть.

Только присмотревшись к людям, под клятвой о молчании, начинают хлысты открывать некоторым первые небольшие тайны. А кто наконец станет участником больших, тот сам будет молчать, разве только, одумавшись, ужаснется грязи, в какую попал. Да это редко бывает.

Однако незадолго до войны, кто по духу, кто в частном, один на один, разговоре, начали кое-что сообщать: «Правду, батюшка, ты говорил, дело-то выходит нехорошее. Говорят, на тайных собраниях Гавриша себя за Христа выдает, а баушка Оганя, островская старуха, у него в богородицах». Но все это опять «говорят». Свекровь видела в щелку – сказала снохе, сноха – матери, а та уж к батюшке пришла. За точность таких сведений не поручишься.

Война растревожила людей, заставила больше думать о Боге. Чаше стали собираться люди поговорить о Божественном. Только одни действительно по-хорошему говорили, другие, не разбираясь, лезли на всякую «беседу», а третьи начали задумываться – не запутаться бы.

В это время пришло письмо от Сергея Евсеевича. Неторопливый, основательный, он написал только тогда, когда сам для себя все продумал, разобрался, что хорошо понято, а что нужно выяснить через батюшку. Он писал, что и сам с женой похаживал на беседы к Гаврише и его друзьям. Когда батюшка начал предупреждать, воздержался маленько, а совсем не отстал, ничего плохого там не видел. А вот здесь поговорил с бывалыми людьми, сам хорошенько обдумал каждое слово, которое запомнил, и видит: правда, нехорошо. Этот Гавриша нет-нет да и забросит словцо. Тогда-то он на них внимания не обращал, Думал, спросу человек обмолвился, а как соединил эти обмолвки вместе да подумал над ними, – волос дыбом встает. Правда – получается совсем не христианство, а кощунство какое-то. А другое-то он и совсем понять не может, просит батюшку растолковать. И в стихах у них тоже такие слова попадают, почище Гавришиных обмолвок. Эти слова, которые запомнил, он сейчас и пишет и просит батюшку объяснить ему, если он что неправильно понял. А насчет того, что там яма, в этом он вполне убедился, только теперь за Пашу боится, чтобы ее туда насильно не затянули. Сейчас-то она спросту ходит, пишет ему: «Чай, не на гулянку». Напишет ей теперь покрепче, чтобы не ходила, а батюшку ради Христа просит побывать у нее, поговорить, чтобы отстала.

Неизвестно еще, удалось ли бы отцу Сергию убедить Пашу, если бы не помог случай, вернее, Промысел Божий.

Несколько времени назад в Острой Луке появилась новая учительница, Екатерина Ивановна, сразу обратившая на себя внимание своим необычным поведением. В селах было так мало интеллигенции, что каждый новый человек торопился скорее перезнакомиться со всеми. Конечно, одни были люди молодые, другие – пожилые, с разными вкусами; собирались в компании и проводили время кому с кем интереснее, а знакомство водили со всеми, хоть пореже, но у всех бывали. А Екатерина Ивановна, приехав, только что не заперлась в своей комнате, кроме как по делу, никуда не ходила. Лишь тогда, когда об этом пошли разговоры, сделала визит матушке. Та быстро отдала визит, но Екатерина Ивановна на том и покончила: ни сама ни к кому, ни к себе никого. Постепенно поползли слухи, что она частенько ездит, будто бы в Липовку к родным, а попадает в Брыковку; с Гавришей она хорошо знакома, помогает ему в беседах и чуть ли не метит в богородицы.

Вскоре по получении письма от Сергея Евсеевича Екатерина Ивановна зашла к отцу Сергию, но неудачно: ни его, ни Евгении Викторовны не было дома. Гостью попросили подождать в зале, а дети побежали отыскивать родителей.

Над письменным столом, около которого устроилась Екатерина Ивановна, висела на скоросшивателе переписка отца Сергия. Никому и в голову не могло прийти, что гостья будет настолько бесцеремонна, чтобы прочитать чужие письма. Но у Екатерины Ивановны, видимо, были свои взгляды на этот вопрос. Неизвестно, прочитала ли она что-нибудь другое и какую пользу извлекла из прочитанного. Но большое письмо Сергея Евсеевича, выделявшееся между более мелкими бумажками, прочитала и сразу же ушла. Когда вызванные детьми хозяева пришли домой, ее уже не было.

Зато в тот же или на следующий день она с несколькими «помощницами» явилась к Паше Прохоровой и как следует отчитала ее за письмо мужа, которого называли и предателем, и отступником, а попутно начали стыдить и ее... за что?.. должно быть, за то, что он ее муж. Паша, и так уже заду мавшаяся после его письма и посещения отца Сергия, да еще заметившая в словах гостей намек на новую веру, которую она будто бы предает, – вспыхнула и заявила, что от Православия отказываться она и не думала, что после таких слов она к ним на беседы ни ногой не ступит и их к себе не пустит. Так она и сделала, к великой радости мужа.

Этот случай и выдержки из письма Сергея Евсеевича стали известны всему селу, и многие, подобно Паше, «спросту» ходившие на беседы к «бабушке Огане», прекратили свои посещения. Постепенно отстали и несколько более активных сторонниц Гавриши, а в 1922 году и сама бабушка Оганя разочаровалась в нем.

* * *

Война испортила отношение народа к духовенству. Хотелось сорвать зло на ком-то, находящемся под руками, а тут, кстати, кто-то пустил в ход фразу: «ПОПЫ войну начали». О некоторых, более состоятельных, священниках говорили, что у них деньги в Германии, и никто не давал себе труда подумать, для чего, имея деньги в Германии, начинать с ней войну.

Авторитет отца Сергия и любовь к нему прихожан пошатнулись. Многие сочувствовавшие ему просто боялись открыто выражать свои чувства, большинство его молодых сотрудников оказалось в армии, а умами завладели новые люди. Все чаще, когда отец Сергей или матушка шли по улице, вслед им раздавались обидные выкрики. Даже среди попечителей появились враждебные настроения.

Неожиданное обстоятельство, происшедшее один раз за семьдесят, а может быть, и более лет, усилило эти настроения. В 1915 году Пасха пришлась на 22 марта, а Сретение – на

первый день Великого поста. В таком случае, по Уставу, праздничная служба переносится на канун Сретения, то есть на воскресенье 1 февраля.

Это «новшество» переполошило весь уезд, и, вероятно, не только его. На этот раз ядро возмущенных составляли бабы. Конечно, не обошлось без ядовитых намеков со стороны заядлых старообрядцев, без нашептываний Гавриши. Начались толки о том, что «попы Пасху середь поста устроили».

Даже после того, как прошла Пасха и народ мог убедиться, что ее никто не пытался передвинуть, отношения не исправились. Дошло до того, что отец Сергей начал подумывать о перемене прихода.

Он был убежденным противником перехода с места на место по хозяйственным соображениям, считал, что перевод может быть только по распоряжению епископа, сделанному по его собственным соображениям или в случае каких-то особых обстоятельств. А при данных условиях ни сам Сергей, ни его жена, ни брат, отец Евгений, не могли решить, является ли настоящая обстановка такой крайностью. Если бы был жив отец, Евгений Егорович, чтобы можно было с ним посоветоваться!

Наконец пришли к выводу, что отец Сергей должен поехать к архиерею, рассказать ему все и положиться на его решение. Крепко помолвившись, отец Сергей поехал, но архиерея в городе не застал. Еще раз посоветовались дома и решили считать это указанием свыше на то, что нужно оставаться на старом месте.

Дальнейшее показало правильность такого решения. Не прошло и двух лет, как отношение народа стало постепенно улучшаться. Скоро за «батюшку Сергея» горой стояли не только православные, но и старообрядцы. А что получилось бы, если бы он оказался на новом месте, среди малознакомых людей, хотя бы во время гражданской войны...

Сопоставляя, насколько возможно, старые факты, можно предположить, что поездка отца Сергея в Самару совпала со временем смены там архиереев. С тем временем, когда началась блестящая, но краткая карьера будущего митрополита Питирима³⁶ и когда сменивший его епископ Михаил³⁷ еще не приехал в город.

Епископ Михаил пробыл в Самаре сравнительно недолго и не оставил в делах епархии заметных следов. Но в 1916 году в села каким-то образом просочилось известие о его «придворных успехах», и это известие в духовной среде передавали потихоньку, из уст в уста, с непременной добродушной усмешкой.

В то время в Самарском мужском монастыре был архимандрит не то Антоний, не то Анатолий. Назовем его условно хоть Анатолием. Особыми талантами он не отличался, даже, кажется, и образованием-то не шибко блистал, но каким-то путем заслужил расположение Распутина, а за ним и императрицы. И вот «в верхах» последовало решение: быть Анатолию архиереем. Решение решением, а Синод запротестовал: в таком деле нужна рекомендация местного правящего епископа, а епископ Михаил рекомендации не дает. Вскоре епископ Михаил был вызван в Петербург и удостоен высочайшей аудиенции. Аудиенция была очень краткой. Александра Федоровна приняла от епископа благословение, поцеловала его руку, дала ему поцеловать свою и, не дослушав его объяснений на свой вопрос, что он имеет против архимандрита Анатолия, сказала коротко:

– Я надеюсь, что вы дадите рекомендацию.

По придворному этикету к царствующим особам нельзя оборачиваться спиной. Значит, чтобы выйти из комнаты в их присутствии, нужно пятиться задом. Пятясь, епископ Михаил

³⁶ Питирим (Окнов, 1858–1920), архиепископ Самарский и Ставропольский с декабря 1913 г. по июнь 1914 г. Впоследствии (с ноября 1915 г.), митрополит Петроградский и Ладожский, член Священного Синода. 6 марта 1917 г. смещен с кафедры как ставленник Г. Распутина.

³⁷ Михаил (Богданов, 1867–1925), епископ Самарский и Ставропольский с июля 1914 г. по декабрь 1918 г.

задел стоявшую в комнате драгоценную не то севрскую, не то китайскую вазу и вдребезги разбил ее. А рекомендации все-таки не дал.

В 1918 году епископ Михаил уехал с белыми. Рассказывали, что перед отъездом он заходил посоветоваться к древнему уже тогда старику-протоиерею, настоятелю кафедрального собора отцу Валериану Лаврскому, и тот напомнил ему слова Спасителя о добром пастыре, полагающем душу свою за овец своих.

Епископ Михаил умер через несколько лет в Болгарии, а в 1918 году в Самаре на смену ему был назначен епископ Филарет³⁸, получивший прозвище «пеший архиерей», за то, что он первый перестал ездить в карете, а ходил в кафедральный собор пешком. Об архиерее Филарете говорят, что перед своей смертью он долго томился. Перебирая, по-видимому, все, что могло мешать ему умереть, он вспомнил, что в кармане или столе у него осталась еще монетка, одна или две копейки. Монетку нашли и отдали нищим. После того он умер.

Похоронен епископ Филарет на старом городском кладбище.

Глава 22

Родники

Весной 1917 года прошел слух о явлении чудотворной иконы в селе Родники, или Корнеевка, за Николаевском (так тогда еще назывался уездный город Пугачев). Рассказывали, что икону нашел пленный австриец, работавший в Родниках, что народ туда идет толпами, что там каждый день творятся чудеса. Пошли туда и люди из соседних с Острой Лукой сел и из самой Острой Луки. Летом к матушке пришла полуслепая старуха Маркельевна, давно уже с трудом доходившая только до церкви, едва различавшая светлые пятна на месте окон. Она пришла без палки, бодрым, почти молодым шагом. Вернувшись из Родников родственница налила ей пузыречек масла, взятого из лампады, горевшей перед явленной иконой. Маркельевна мазала этим маслом глаза – и вот, видит. «Словно чешуя у меня с глаз спала, – со слезами рассказывала она, – гляжу – не наглажусь!»

Что ни дальше, все чаще заговаривали об иконе отец Сергей с женой, все серьезнее подумывали о поездке в Родники. Это было нелегко. Мало того что нужно было выбрать неделю без праздников, чтобы, выехав в воскресенье после обедни, успеть вернуться к субботнему вечеру. Мало того что хлопотливо пускаться в такой путь с четырьмя детьми – матушка ждала пятого. Как-то ей в таком состоянии проехать более сотни верст до Родников, чуть не двести пятьдесят верст в оба конца, по проселочным дорогам, на тряском тарантасе? А в то же время это-то ее состояние и делало поездку необходимой.

Баушка Авдотья, которой Евгения Викторовна, по опыту последних лет, доверяла больше, чем настоящей акушерке, предупреждала о неправильном положении плода, говорила, что без операции не обойтись. Поднимался опять тот же вопрос, как и перед рождением Кости, только теперь он был еще сложнее, приходилось оставлять не одну, а троих детей (Соня в счет не шла, она осенью должна будет уехать в Самару учиться). Притом, чтобы не довести до осеннего бездорожья, уезжать придется надолго, месяца на два, да еще в такое беспокойное время.

Наконец поездка в Родники была решена. С большим трудом отцу Сергию удалось достать легкий поместительный фургон на железном ходу с рессорами. Запрягли в него старика Гнедого и недавно обьежженного, выращенного на смену старику Воронка, нагрузили всем необходимым, от войлока до арбузов, и поехали. Ехали не торопясь; два раза ночевали, среди дня в понедельник долго отдыхали в поле и, часов в десять утра во вторник, добрались

³⁸ Филарет (Никольский, 1858–1922), епископ Самарский и Ставропольский в 1920–1921 гг. Умер в ссылке.

до Родников. Хозяева, у которых они остановились, сообщили, что церковь открыта с утра до ночи, и приезжие, слегка отдохнув, покормив детей и переодевшись, отправились туда.

Мало было сказать, что церковь открыта, она была полным-полна, как не всегда случалось даже на Пасху. Внутри было так душно, что многие стояли в ограде, у открытых окон. Бросалось в глаза, что на некотором расстоянии от стен, кругом всей церкви, поднималась еще невысокая кирпичная стенка, точно вторая, внутренняя ограда, только более массивная. Впоследствии выяснилось, что это строится новая, большая церковь, срочно заложенная ввиду того, что старая не вмещала притока молящихся. Чтобы не прекращать совершения богослужения, решили, пока возможно, строить новую церковь не разрушая старой, а как бы окружая ее футляром.

Посредине церкви стояли два аналоя, на которых лежали небольшие, сантиметров пятнадцать – двадцать в длину «афонские» иконочки, отпечатанные на бумажном атласе: одна – Божией Матери Испанской³⁹, другая – целителя Пантелеимона. Почти непрерывно служились акафисты Покрову Божией Матери и целителю Пантелеимону.

– Пока не составлена специальная служба нашей иконе, решили служить Покрову, – объяснял родниковский священник, отец Николай Кубарев.

Служил то он, то кто-нибудь из приезжих священников, которые бывали каждый день, и не по одному; некоторые приходили или приезжали вместе с прихожанами.

Когда кончался акафист, молящиеся стеной шли прикладываться к иконам. Толпа казалась бесконечной. Начинался новый молебен, а народ все прикладывался.

Неожиданно где-то в толпе раздался громкий вопль. Диким, нечеловеческим голосом кричала женщина; иногда можно было разобрать отдельные слова; иногда сразу были слышны как бы два три голоса. В дальнем углу закричала другая, ее вопли напоминали собачий лай. Народ зашептал, закрестился. «Бесноватые», – сказал кто-то. Теснота и давка усилились, народ старался пропустить бесноватых с их провожатыми к иконам. Через некоторое время крики смолкли.

Зажатая в толпе, Евгения Викторовна горячо, вдохновенно молилась. В ее позе, в глазах, устремленных на образ Божией Матери, чувствовалась глубочайшая вера, трепетная надежда, мольба... Слегка откинув голову назад, подняв лицо вверх, она взволнованно шептала слова молитвы, как-то особенно убежденно и благоговейно крестилась, вся отдавшись своему чувству, забыв об окружающем. Соня с детства привыкла видеть, с каким чувством она молится по вечерам, но такой не видела ее еще ни разу.

Когда дети устали, все семейство отправилось к дому батюшки. Николай Александрович Кубарев приходился дальним родственником Евгении Викторовне, и они с мужем решили воспользоваться случаем и узнать поподробнее об иконе. Отец Николай только пришел из церкви, чтобы немного отдохнуть, и, сидя за чаем, рассказывал с удовольствием. Как и передавали богомольцы, икона явилась через пленного австрийца. Ему начали сниться необыкновенные сны. Он видел голое, пустынное поле с валявшимися по нему человеческими костями и над полем в воздухе, сияющий образ – он только не мог разобрать – Чей, Спасителя или Божией Матери. Потом являлось заброшенное, заросшее бурьяном место, какое-то полуразрушенное каменное здание вроде сарая и опять та же икона. Слышавшийся в это время голос все настойчивее требовал, чтобы икону нашли, что она спасет людей.

Наконец австриец пошел к батюшке и рассказал о снах. Отец Николай подробно расспросил его, чтобы убедиться, следует ли доверяться его сообщению, и решил, не разглашая особенно, походить с австрийцем⁴⁰ и несколькими доверенными людьми по окраинам села, где могло оказаться место, виденное тем во сне. Ходили долго. Наконец набрали на

³⁹ Так в оригинале. Возможно, имеется в виду более распространенная афонская икона – Иверская.

⁴⁰ Имя его никому не запомнилось, все называли его просто «австриец». – *Авт.*

заброшенное гумно с развалившейся половней⁴¹, которые здесь, в безлесной степи, делались из местного камня. Австриец сказал, что именно это место он видел. Потом указал на небольшой бугорок и сказал, что копать нужно здесь.

– А какая там была почва? – спросил отец Сергий.

– Твердый суглинок, как камень, много лет не копанный, – ответил отец Николай. – Когда начали копать, его лом не брал, откалывали мелкими кусочками. Копал австриец и остальные мужчины по очереди. Я стоял в стороне, чтобы не было подозрений, что я подбросил. Австриец копал до тех пор, пока совершенно не обессилел, – он в это время постился, готовился присоединиться к Православию. Его заменил один из попечителей, а он сел в сторонке и глаза прикрыл рукой – видимо, голова кружилась. В это время тот, который копал, выбросил из ямы вместе с землей свернутую иконочку. Я вижу: она лежит на кучке земли, но не подхожу, думаю, пусть кто-нибудь другой увидит.

– Как она была свернута? – опять осведомился отец Сергий.

– Треугольником. Никаких подозрений в обмане быть не может. Если бы, скажем, австриец пробуравил землю буравом и подсунул иконочку, тогда она должна бы быть свернута трубкой. И подбросить он не мог, работал в одной рубашке с засученными выше локтя рукавами. Да теперь эти подробности не так уже важны: с тех пор произошло столько чудес, а чудеса не подбросишь.

Пока я смотрел на иконочку, австриец вдруг встал, поднял ее, сказал: «ВОТ она!» – и положил мне на ладонь. И иконочка сама развернулась.

Тут, конечно, все стали прикладываться к ней, потом я положил ее опять на землю, там, где ее нашли, а сам сел на подводу (мы на всякий случай лошадь с собой захватили) и поехал в село, собрать людей и прийти за иконой с крестным ходом. Но я еще половины дороги не проехал, как начался трезвон, а когда я подошел к церкви, из нее уже выносили иконы, кто-то из бывших со мной опередил меня, добежал без дороги, через овраги.

– Батюшка! – окликнула вошедшая в комнату кухарка. – Там женщина пришла с мальчиком, хромым мальчик исцелился.

Все, и хозяева, и гости, вышли в кухню, где ожидала до вольно еще молодая женщина и мальчик лет тринадцати. Не зная, в чем дело, только по их взволнованным лицам можно было понять, что с ними произошло что-то поразительное. У стены стоял не нужный теперь костыль.

Не сдерживая счастливых слез, женщина начала рассказывать. Мальчик болел с раннего детства. Куда она только с ним не обращалась! Возила к врачам в Симбирск и в Москву, ездила по святым местам, ничего не помогало. Услышала про явленную икону и решила пойти к ней пешком, из Симбирской губернии пришли. И вот сегодня, когда приложились к иконе, мальчик встал на ногу, как будто она никогда и не болела.

– Это твой костыль? – спросил отец Николай.

– Ну-ка, покажи, как ты ходил.

Мальчик, осторожно ступая правой ногой, подошел к стене, ловко сунул костыль под мышку и заковылял по комнате. Было ясно, что он давно привык ходить так.

– Ну а теперь как? Не больно ногу? Что ты словно боишься на нее наступать? Мальчик смущенно и радостно улыбнулся:

– И правда, вроде боюсь. Не верится. А наступать я могу, ничего не болит, не мешает. Вернувшись в столовую, отец Николай сказал:

– Такие случаи я уж и описывать перестал, только записываю коротенько имя и адрес для комиссии, если захотят проверить. Первое время все случаи тщательно фиксировал, а теперь описываю только самые поразительные. Сначала мне и в голову не приходило,

⁴¹ Половня – сарай для мякны и с/х орудий. – *Авт.*

что могут быть чудеса. Думал, поставим икону в церкви, отслужим молебен, и на том кончится. И вдруг начались исцеления. Люди повалили и к иконе, и на место явления. Землю оттуда брали. А через два дня один мальчик нашел там еще образок, целителя Пантелеимона. Сколько людей там перебивало, никто его не видел, а вот мальчику явился. И с тех пор каждый день так, как сегодня, сквозь народ в алтарь не пробьешься. Если бы не помогали приезжие священники-богомольцы, я бы один не выдержал. Новую церковь начали строить. В этой зимой невозможно будет стоять. Фотографа пригласили, сфотографировали образки, заказали сразу несколько тысяч экземпляров – так дешевле – и продаем тоже по дешевке. Ждем комиссию из Святейшего Синода. Кажется, во главе ее будет саратовский протоиерей отец Павел Соколов⁴².

– Ну а... помех не было?

– Приезжали какие-то на автомашине, возили меня и на место явления, и в церковь к иконам, поговаривали, что заберут. Да ведь вы видите, какие у нас места! Кругом крутые овраги, в оврагах родники, дорога между оврагов спиралью крутится. Пока мы на машине доберемся, народ через овраги бегом, целой толпой, вперед нас поспевает. Так и не дали.

А то попытались было украсть. Утром сторож только что отпер двери, как вошел человек, долго стоял у аналая, потом вышел. Сторож ничего худого не заподозрил, кончил уборку и подошел приложиться к иконам. Смотрит, а на аналое только одна Божия Матерь, целителя Пантелеимона нет. Он скорее к колоколу и давай в набат бить.

Сбежался народ, кинулись во все стороны, нашли. Вор в канаве спрятался, не успел далеко уйти. Да и то, видимо, второпях ошибся. Вместо Божией Матери украл икону целителя Пантелеимона. А чтут-то больше ту.

На следующее утро, едва занялась заря, Евгения Викторовна разбудила Соню:

– Иди скорее к окну! Посмотри!

По улице, построившись правильными рядами, со священником во главе, шли люди, человек триста. Шли ровным, быстрым шагом, как крестные ходы во время молебствия о дожде, когда за день нужно много пройти. Да это шествие и напоминало крестный ход, хотя люди и не несли икон. Отличалось оно разве тем, что шли более организованно. Во время крестных ходов обыкновенно сзади тащатся отставшие, по бокам тоже бредут как придется, то теснясь, то растягиваясь в стороны. А богомольцы на улице держались правильным, четким четырехугольником. Небольшого роста, худенький священник в поношенном подрясничке шел на шаг впереди первого ряда и запевал то одну, то другую молитву. Народ дружно и привычно подхватывал.

– Говорят, за двести пятьдесят верст пришли, – крестясь, сказала хозяйка.

Почти весь этот день и половину следующего наши богомольцы провели в церкви. Отец Сергей помогал отцу Николаю, а матушка стояла в толпе и молилась так же горячо, как и накануне. Когда дети уставали, она предлагала им отдохнуть в ограде, совала домашние пирожки или что-нибудь еще и опять уходила в церковь. Она только жалела, что они приехали на такой короткий срок и не смогут здесь причаститься.

Обратно выехали, когда спала жара, с расчетом переночевать в Николаевске, но вскоре же по выезде узнали, что в Николаевске разбили и подожгли винный склад и неизвестно, что там творится. Как обычно в таких случаях, трудно было отличить правду от вымысла. Встречные рассказывали ужасы об утонувших в вине и сгоревших, о пьяных драках; создавалось впечатление, что по улицам бродят банды пьяных хулиганов, а пожар угрожает всему городу. Но и то, что путники видели сами, не говорило о хорошем. Из города ехали подводы, нагруженные водкой и спиртом, с перепившимися возницами. Ближе к городу пьяные

⁴² Впоследствии епископ Петр Сердобский. По независимым ни от Священного Синода, ни от комиссии обстоятельствам расследование не состоялось. – *Авт.*

валялись около дороги; на дрожках, пущенных на волю лошади, лежал мертвецки пьяный дядька с беспомощно болтающимися руками и головой... Из-под мостика, переброшенного через глубокую канаву, какой-то оборотистый парень деловито предлагал: «Батюшка, купи водки!» По небу ползли клубы дыма. Ясно было только одно: ночевать в городе нельзя.

– Заедем к батюшке Ахматову, – решил отец Сергей. – Он служит в женском монастыре, между ним и городом пустырь. Узнаем, каково положение, может быть, и переночевать у него удастся.

Деревья, росшие по берегу реки Иргиз, заслоняли вид на город, но, когда переехали мост и поднялись на высокий берег, вся картина открылась, как на ладони. Город был затянут серой пеленой. В левой стороне, где находился склад, чуть не до половины неба поднималось густое черное облако, прорезанное языками пламени. Даже самое пламя было какое-то темное, мрачное, как бы неподвижное, хотя языки его поднимались все выше. А направо, на зеленом берегу Иргиза, освещенный лучами вечернего солнца, стоял монастырь – белый, сверкающий, тихий, как видение из другого мира.

– Заедем к батюшке Ахматову, – повторил отец Сергей.

Он остановил лошадей у заросшего сиренью палисадника, вошел в домик, выступавший из монастырской стены, и минут через десять вышел обратно.

– Отца Александра нет, – сказал он. – Я расспросил подробно, говорят, что окраиной вдоль Иргиза можно проехать безопасно, а ночевать в городе, разумеется, не советуют. И на ту дорогу, по которой мы приехали, через Селезниху, не попадем, для этого нужно проезжать через центр, недалеко от пожара. Придется ехать на Подшибаловку. Он повернул лошадей и сел на козлы.

– А что же к батюшке лохматову не заехали? – озабоченно подала голос Наташа. Все засмеялись.

– А он, кстати, лысый, – добавил отец Сергей.

Смех усилился. Все точно стряхнули с себя часть беспокойства, хоть и жутко было ехать по пьяному городу, пахнущему спиртом и дымом.

Скоро совсем стемнело. Впереди едва намечалась дорога, зато сзади стояло багровое зарево, разгоравшееся по мере того, как спускалась ночь. Оно виднелось почти до самой Подшибаловки, до которой считалось верст двадцать пять – тридцать.

Дорогой пришлось остановиться и подкормить усталых лошадей. Самим тоже не мешало бы закусить, но, выезжая из Родников, рассчитывали возобновить запасы провизии в городе, а сейчас в корзине почти ничего не осталось: досыта накормили Наташу; мальчикам разделили на двоих полузасохшую, еще домашнюю, булочку, а Соня, подражая взрослым, отказалась от еды. Впрочем, с большим удовольствием съела немного спустя корочку хлеба, оставшуюся у Наташи.

В Подшибаловку приехали поздней ночью, утомленные, полусонные. Пока хозяева постоянного двора стелили на полу постели и расспрашивали старших о пожаре, дети успели с аппетитом съесть по куску мягкого хлеба, а самовара не дождались, уснули.

На следующий вечер богомольцы были дома. Немного отдохнув с дороги, Евгения Викторовна послала за бабушкой Авдотьей. Старушка внимательно осмотрела и сказала торжественно:

– Молись Богу, матушка! Младенец-то повернулся!

В конце ноября почти безболезненно родилась Катя, даже бабушка Авдотья не успела прибежать, хоть и жила всего через площадь. Еще раньше этого у Кости с мамой завелся секрет, они каждый вечер за чем-то запирались в маминой спальне. Так тянулось несколько месяцев. Только когда Соня приехала из Самары на рождественские каникулы (вернее, совсем, потому что начиналась гражданская война и родители побоялись отпускать от себя Соню), – только тогда, да и то не сразу, мама спросила ее:

– Ты не замечаешь, что Костя теперь сам лазит на печку и на Мишину кровать, на второй этаж, и что он стал гораздо быстрее бегать? Конечно, Соня сама не заметила бы этого, но теперь, когда мама обратила ее внимание, припомнила. Действительно, он лазит довольно ловко, хотя летом его даже на фургон приходилось подсаживать. А бегая по улице, конечно, не мог сравниться с быстроногим Мишей и с ней самой, но все-таки оказывался далеко не последним, как это было раньше.

– Я ему каждый вечер мазала руки и ноги родниковским маслом, – сказала мама.

С этого года в семье стали считать Божию Матерь своей покровительницей и особенно чтить Ее Родниковскую икону. Одну из нескольких привезенных с собой копий ее, вложенную в плоскую металлическую коробочку и специально сшитый мешочек, отец Сергей всегда носил на груди, особенно если ожидал чего-нибудь тяжелого или неприятного. Перед ней молились они при всяких невзгодах, и кто скажет, от скольких опасностей и страданий избавила отца Сергея и всю его семью Божия Матерь через эту иконочку, скромно отпечатанную на небольшом лоскутке бумаги. Да и не одни они в селе испытали на себе ее силу. Недаром акафист Покрову Божией Матери стал теперь одним из любимых в народе, и припев его «родниковским напевом» пела вся церковь, наравне, если не чаще, чем припев «Взыскающей»⁴³.

А маленькой Кате не суждено было вырасти. Веселая, здоровенькая девочка умерла от дизентерии на Преображение наступившего 1918 года.

Накануне Острую Луку обстреляли. Теперь, может быть, и смешно говорить о трех или пяти трехдюймовых снарядах, выпущенных чехами по селу с Волги и упавших на западной его окраине. Но неискушенные жители не знали, что этим обозначены пределы досягаемости орудий. За несколько дней до обстрела, ставшего видным событием в местной хронике, все наблюдали пожар в подожженной снарядами Теликовке, и теперь в селе началась паника. Народ ринулся из села, захватив самое необходимое имущество, которое все лето держали на запасных, оторванных от полевых работ рывданах. Острая Лука находилась посередине между селами, занятыми штабами красных и белых; чуть не каждый день, а иногда и не один раз в день, наведывались отряды то с той, то с другой стороны, и народ все время был начеку. Услышав выстрелы, все кинулись в поле, не рассчитывая вернуться. Плач и крик стояли в воздухе. А перепуганная Евгения Викторовна несла на руках, на небольшой подушечке, почти уже умиравшую Катю. Вечером все возвратились на свои места, а рано утром девочка умерла.

Глава 23

Вечер

1918 г.

С утра мела поземка, потом сверху повалил густой снег, а к вечеру разыгрался настоящий буран. Даже в селе крутило так, что трудно было дышать, а дорожки между домами превратились в рыхлые сугробы. Ветер завывал под крышей, рвал ставни, которые стучали и скрипели, едва не срываясь с петель, или вдруг, закрутив сухой снег, с силой швырял его в окна, словно горсть песка. Покрывая вой и свист ветра, над селом неслись редкие, размеренные удары колокола. Теперь всю ночь будут звонить, даже если через несколько часов буран прекратится. Для этого нарочно наряжают несколько мужиков, которые ночуют в церковной

⁴³ Икона Божией Матери «Взыскание погибших».

сторожке и по очереди, одевшись, как в дальнюю дорогу, дежурят в открытой всем ветрам ограде и звонят, подавая сигнал тем, кто, может быть, кружится сейчас без дороги в белой клубящейся мгле.

Когда удары колокола раздавались громче обычного или ветер особенно сильно стучал в окно, кто-нибудь отрывался от своего дела и говорил: «Помоги, Господи, тем, кто в поле! Что там сейчас делается!» И вдвое уютнее казалась теплая, светлая комната.

Мирно горела лампа в зале, на заваленном книгами и бумагами письменном столе отца Сергия, мирно тикали над ним большие старинные часы. С висевшей над столом выпускной семинарской карточки смотрели знакомые лица преподавателей и товарищей отца Сергия. Многих теперь уже нет, другие постарели почти на пятнадцать лет.

Белые занавески и тюлевые шторы прикрывали разрисованные морозными узорами окна. В переднем углу слегка поблескивали серебряные ризы икон; ниже их мягкими полутонами вырисовывались большие красочные олеографии – Казанская икона Божией Матери и «Моление о чаше». На окнах и на полу около окон стояли цветы: лимоны, лилии, трехлетние пальмочки – маленький мирок, такой чуждый тому, что творилось за стеной. Трюмо в простенке между западными, выходящими на улицу окнами, осененное по сторонам высокими фикусами зеркало отражало полуоткрытые двери в прихожую, голубую голландскую печь, старинные гусли перед ней, потертое красное кресло рядом у стены. Дальше виднелся поставленный наискось между двумя стенами диван, примостившаяся в углу за ним драцена, стул со стопой нот и кусочек фисгармонии, занимавшей остаток боковой стены, вплоть до южного окна, подходившего к переднему углу. Портреты родителей отца Сергия – Евгения Егоровича и Серафимы Серапионовны – на стенах над диваном и сине-красные фарфоровые фигурки голландца и голландки на узорчатых чугунных полочках под портретами видны в зеркале так же отчетливо, как и в действительности, с трещиной на стекле и мелкими дефектами на рамках. Беспристрастное зеркало отразило даже кусочек отбитой подставки у голландца – хотя он и стоял так, чтобы изъян был меньше замечен, – и выцарапанное на голубой эмали печки изображение Черного Рыцаря, из-за которого у Кости в свое время было неприятное объяснение с мамой. Зато стоящий перед диваном круглый стол, покрытый такой же, как и диван, старенькой красной скатертью, не позволял заметить, что подушка, лежащая на середине дивана, прикрывает большую дыру с торчащей из нее пружинной. Несколько времени тому назад задумали было заново обить диван и кресла, на этот раз зеленым материалом. Зеленая скатерть, в тон предполагаемой обивке, была уже куплена, но началась война, и о ремонте обстановки пришлось забыть.

Новая жизнь, не признающая красоты, властно ворвалась в когда-то хорошенькое и аккуратное зальце. Она отразилась даже на полудюжине стульев, стоящих около заставленных цветами окон в переднем углу и уже около пяти лет известных под именем новых. Несмотря на то, что ими пользуются только в исключительных случаях, на них заметны следы этой жизни в виде пятен и царапин. Дверки книжного шкафа не прикрываются – там вечно торчит углом какая-нибудь толстая книга. На украшенных затейливой резьбой полосках фисгармонии громоздятся Сонины картонажи: терема, виллы, римские колесницы, целые поселки – приложения к детскому журналу, над склеиванием которых Соня проводила иногда целые дни. На подзеркальном столике, в былые дни покрывавшемся красивой вышитой дорожкой, и на неширокой дощечке-карнизе под ним размещены «хозяйства» мальчиков. Там в грозном боевом порядке выстроились войска, вырезанные из старой «Нивы» и наклеенные на картон. Мальчики иногда все дни посвящают битвам, от которых больше всего страдают их штанишки. Расставив бумажные войска в два ряда, один против другого, они становятся на колени сзади своих и ползают вдоль линии фронта, ожесточенно дуя на противника. После того как упадут все воины, наступает перемирие; упавших вверх подставкой убирают, как убитых; тех, которые лежали вверх лицом – раненых, – расставляют снова, и

сражение возобновляется, оканчиваясь только тогда, когда все войско одной стороны будет перебито до последнего солдата. Тогда общими силами награждают оставшихся в живых победителей и особенно стойких героев, подрисовывая им медали и ордена; изменников, позволявших убить себя в первую очередь, заключают в тюрьму, под педаль, приводившие в действие меха фисгармонии, и можно начинать все сначала.

В этот день бумажные солдаты тщетно привлекали внимание своих главнокомандующих: они почти целый день провели на «колокольне». Колокольной назывался верхний этаж двойной кровати, устроенной отцом Сергием после того, как его прежнее сооружение из трех кроватей было забраковано. На нижнем этаже спал Костя, мускулы которого до прошлого года были так слабы, что он не мог самостоятельно взобраться даже на печку в кухне, где дети любили играть зимними вечерами. Верхний этаж достался цепкому ползауке – Мише, но он соблазнял всех – и епархиалку Соню, и маленькую Наташу, и значительно окрепшего за последний год Костю. А Костя, уступавший всем своим сверстникам в силе и ловкости, обладал зато способностью надолго увлекаться и увлекать других. Например, несколько месяцев тому назад он прочитал «Айвенго» и с тех пор без конца говорил о рыцарях, рисовал рыцарей, играл в рыцарей. Соня еще раньше отдала дань этому увлечению, но она не хотела, чтобы над ней смеялись, и увлекалась молча. Только в укромном уголке, одна, фехтовала она с воображаемыми противниками или проделывала торжественную церемонию клятвы на мече, который заменяла палка от серсо с крестообразной рукояткой. Костя не боялся ни насмешек, ни окриков мамы или товарищей: «Отстань, надоед!» Поэтому в доме оказался целый арсенал сделанных из фанеры щитов с более устрашающими, чем искусно сделанными, рисунками, – и все окружающие, от трехлетней Наташи до ее пятнадцатилетней няньки Маши, с большей или меньшей горячностью занялись турнирами и единоборством. Изобретенный Соней меч, благодаря своей длине, годился только для торжественных церемоний, особенно для королевских выходов из «Принца и нищего» – другого увлечения Кости. При турнирах начали употреблять деревянные кинжалы, а то и просто действовать руками. Руки от ударов о щиты краснели, как ошпаренные, но что же делать? Рыцарям тоже нелегко приходилось.

Колоколами Костя увлекся еще раньше, чем рыцарством, и тут тоже проявилась особенность его характера. Каждый не прочь был позвонить в повешенные в сарае старое ведро и разбитый чугун; каждый с удовольствием дергал бельевую веревку, во все горло подражая звону, а возможность забраться на Пасху на колокольню или в обычное время помочь сторожу выбивать часы возносила любого деревенского мальчишку и большую часть девчонок на верх блаженства. Но все они легко забывали об этих развлечениях, найдя новые. А Костя доводил дело до конца. Понятно, что, как только он получил возможность без посторонней помощи взбираться на верхний этаж, тот перестал быть верхним этажом и превратился в копию островской колокольни. С риском раскровенить руки острым сапожным ножом были вырезаны из фанеры колокола разной величины, разрисованы соответствующими орнаментами, и на каждом из них указан вес. На двух больших колоколах (в 107 пудов 10 фунтов и 63 пуда 7 фунтов) кроме того значилось: «Отлит на заводе саратовской купчихи Олимпиады Ивановны Медведевой», а ниже, славянской вязью или, вернее, детскими каракулями: «Благовестуй, земле, радость велию», – а в другом: «Завтра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой!»

Мальчишки забрались на колокольню еще до обеда. У Миши было свое преимущество: он так искусно подражал трезвону, что Костя охотно предоставлял ему распоряжаться маленькими колоколами, оставив себе право гудеть самым густым басом, раскачивая большой. Назвонившись досыта и в тысячу первый раз исследовав верх перегородок между комнатами, на четверть или полторы не достигающих до потолка, они решили провести телефон через прихожую из папиной спальни, где стояла их кровать, в мамину.

Не раз уже писалось о том, сколько великих изобретений забыто и потеряно для потомства. К числу их относится и способ, при помощи которого новым техникам удалось протянуть под потолком прихожей длинную нитку. Кажется, они привязали ее к пустой катушке и с завидным терпением кидали вверх до тех пор, пока она не перелетела через переборку. Концы ниток с обеих сторон намотали на катушки, прикрепленные к переборкам таким образом, чтобы их можно было крутить. Для работы запаслись карандашами и бумагой – и телефон готов. Немного неудобно было то, что Мише, обосновавшемуся в маминной спальне, пришлось стоять на полукруглой спинке кровати, придерживаясь за висящие рядом платья, но это его не смущало. Он даже гордился своей ловкостью. Костя написал на клочке бумаги слово «Миша», снабдил его внушительных размеров восклицательным знаком, обмотал бумажку ниткой и дернул, давая сигнал готовности. Миша завертел катушку, перематывая на нее нитку, бумажка поплыла по воздуху. Телефон заработал.

Немного погодя Миша тоже дернул нитку – телефон заработал в другом направлении, неся лаконический ответ:

- А?
- Знаешь что?
- Что?
- Давай в телефон играть.
- Давай.

В телефон играли до сумерек. На каждой телефонной станции валялась целая куча использованных бумажек, и почти столько же было рассеяно в прихожей. После каждой упавшей бумажки слышался голос получателя: «Ответ упал, тащи обратно!» – или торопливое предупреждение отправителя:

- Погоди, погоди, не тащи! Телефон испортился.

* * *

Вечером мальчики от нечего делать вытащили из тюрьмы самого злостного изменника – Медного Всадника. Благодаря своей высоте и неустойчивой форме, а может быть, благодаря слишком длинной подготовке, он всегда падал убитым в самом начале игры, а иногда еще до начала, что было совсем возмутительно. Мирные телефонисты, снова превратившиеся в главнокомандующих, возглавили заседание военного суда, состоящего из наиболее отличившихся в последних боях героев. В числе их были: Витязь на распутье, Крейсер «Варяг», Наполеоновский гренадер в меховой шапке и женском салопе и трехдюймовая пушка, в свое время в журнале направленная на подходящих японцев в битве при Дашичао⁴⁴. Суд единогласно вынес смертный приговор, после чего преступнику оторвали голову. Потом стало скучно. Если бы их было больше, можно придумать интересную игру. Можно бы играть в прятки или в жмурки, или соорудить из стульев замечательный поезд, или, открыв двери всех комнат, устроить скачку на двух деревянных конях и трехколесном велосипеде, наконец, просто бегать кругом. Не беда, что папа сидит за своим столом и пишет. Когда он дома, он почти всегда пишет и молчит в это время, разве только крикнет через стену маме: «Еничка, как пишется такое-то слово?»

Когда он разговаривает с мамой или приезжающим в гости Мишиным крестным, отцом Григорием, о том, что он пишет (это называется статьи), он говорит, что его статьи затрагивают важные вопросы церковной жизни; что у него влиятельный оппонент (инспектор епархиального училища; инспектор – это самый главный учитель, а что такое оппонент?), что его статьи с трудом пропускает цензура и, значит, нужно больше писать, чтобы хоть что-

⁴⁴ Сражение в Русско-японской войне, состоялось 10–11 июля 1904 г.

нибудь напечатали. А еще он пишет отчеты и дневник. Впрочем, все равно. Что бы он ни писал, детский шум ему никогда не мешает, только не надо ссориться, а то он обернется и скажет: «Перестаньте!» А это гораздо серьезнее маминых угроз поставить в угол. Время от времени он встает из-за стола и, заложив руки за спину, начинает ходить взад и вперед по комнате – говорит, что он так думает. Но он всегда очень ловко лавирует среди опрокинутых стульев и мчащихся всадников, он и они редко когда мешают друг другу.

Дело не в том, даже не в том, что Катя спит, можно играть потише. Просто никто не хочет играть. Их приятель Саня, сын кухарки Тани, сидит в кухне и выбивает из медной копейки кольцо, заказанное ему какой-то невестой. Маша ушла совсем, потому что ее стали сватать женихи, а сменившая ее Настя все еще стесняется. Соня сидит против мамы за большим столом в столовой и вообще забыла обо всем на свете, погрузившись в приключения охотников за скальпами: это мама недавно узнала, что у отца Григория есть собрание сочинений Майн Рида, и теперь привозит Соне по книжке, благоразумно взяв с нее обещание, что она будет читать только по вечерам и в праздники и не вздумает убежать в Америку. Даже Наташа прижалась к маме, которая быстро-быстро надвязывает детские чулки и в то же время читает, – прижалась, закуталась уголком ее шали и одной рукой раскрашивает каких-то чудищ в красных платьях, с растопыренными пальцами и торчащими на отлет косичками. Да и маме совсем не обязательно читать про себя неинтересную книгу. Сколько приятных вечеров провели все, слушая, как она читает вслух то «Хижину дяди Тома», то «Принца и нищего» или «Похождения Тома Сойера», то про сто рассказ из нового журнала. Но и она отказывается читать, говорит, что Косте нужно остыть, что он слишком горячо все воспринимает. Вот и скучай теперь!

Миша скоро тоже нашел себе занятие. Достав вырезанное из сокорки туловище человека, он, при помощи проволочек, начал прикреплять к нему руки и ноги, стараясь добиться того, чтобы человечек стоял. Его мечтой было заменить бумажные хозяйства деревянными, сделав все, что нужно: мужчин, женщин и детей и комнаты со всей обстановкой, от умывальника до пианино. И чтобы на дворе были и верблюды, и коровы, и собаки, и куры с цыплятами; и чтобы лошадей можно было запрягать, по желанию, и в плуг, и в телегу, и в сани, и в пушку, а людей сажать в экипаж или верхом и давать им в руки грабли, ружье или знамя, что вздумается. Прошло два с лишним года, прежде чем он осуществил свою мечту.

А Костя продолжает скучать. Он заглянул было в книжный шкаф, но мама спрятала «Айвенго» и дает его только по праздникам. Попробовать вызвать Соню на турнир – она только отмахнулась. От нечего делать он взял грифельную доску и начал рисовать осаду замка Фрон-де-Бефа. Мысли его текли по обычному направлению. Рисуя, он декламировал, сначала про себя, потом все громче и громче:

«Нет, он не отступает, не отступает, – сказала Ревекка.

– Вот он, я его вижу; он ведет отряд к внешней ограде передовой башни. Они валят столбы и частокол, рубят ограду топорами. Высокие черные перья развеваются на его шлеме над толпой, словно черный ворон над ратным полем. Они пробили брешь в ограде... Ворвались... Их оттесняют назад. Во главе защитников барон Фрон-де-Беф, его громадная фигура выситя среди толпы».

Костя замолчал, старательно вырисовывая голову черного быка на щите Фрон-де-Бефа, потом продолжал дальше. Он знал наизусть целые страницы из любимой книги.

«Вот теперь Черный Рыцарь со своей огромной секирой приступил к воротам, рубит их. Гул от наносимых им ударов можно услышать сквозь шум и крики битвы. Ему на голову валят со стен камни и бревна, но отважный рыцарь не обращает на них никакого внимания, как будто это пух или перья».

– Костя, перестань! – сказала мама, отрываясь от книги. – Надоел ты до смерти со своими Де-Браси и Фронде-Бефами.

Костя перешел на шепот, но через некоторое время, забывшись, опять заговорил вслух: «Гулко отзывались под каменными сводами яростные удары, которые они наносили друг другу: Де-Браси мечом, а Черный Рыцарь тяжелой секирой. Наконец громовой удар по гребню шлема норманна поверг его на землю.

– Сдавайся, Де-Браси! – сказал Черный Рыцарь...»

– Коська! – рассердилась мама, – хочешь и в воскресенье остаться без книги?

Угроза заставила Костю присмиреть. Минут десять рисовал он молча, потом поднял голову и произнес, глядя в пространство, словно обращаясь к ветру на улице:

– Натан-бен-Самуил.

Наташа насторожилась. Сколько раз Костя давал ей прочитать в «Айвенго» это однажды, случайно встретившееся там имя, сколько раз доказывал ей, что на написанное нельзя обижаться, что в книгах пишут только правду. Ну, разумеется, всякому понятно, что Натан-бен-Самуил значит: Натан, сын Самуила. И не стоит даже и спорить о том, что Натан и Наташа – одно и то же, а доказывать, что она не сын, а дочь своих предков, просто смешно. Она и не спорит и спокойно откликается, когда ее называют Натан-бен, а то и просто Бен. Она и сейчас не обиделась на самое имя, внимание привлек тон Кости, то, как он разделяет, точно отчеканивает, слова. И она сказала на всякий случай, впрочем, пока еще мирно:

– Костыш!

– Беобахтете! – раздалось вдруг с Мишиной стороны.

Мальчики еще не учили немецкий язык; им занимался, да и то уже давно, псаломщик Александр Сергеевич, а к нему, шутки ради, присоединился было отец Сергей. Тогда-то дети поймали это звучное слово (означающее, кажется, «наблюдаешь ли?»), казавшееся Наташе ужасно обидным. Пожалуй, так казалось потому, что братья произносили его с сильным ударением на последнем «а», словно удар грома или выстрел – «бах», а последующие «те-те», повторяли так, как будто им не предвиделось конца. Теперь все ясно, военные действия начались, нужно защищаться.

– Дог Мигуэль!

– Наташка-замарашка!

Действующий против Наташи союз был страшен не только тем, что их было двое против одной, а и тем, что они старше и находчивее. И это прозвище они выкопали где-то в книге, в каталоге детских рассказов. Наташе от этого не легче, но она храбро продолжает борьбу:

– Костыш-гвоздыш! Мишка с шишкой!

– Ната-а-шка-замарашка! На-а-ташка-замарашка!

Наташа наконец чувствует, что ей необходима помощь. «Мама, что они дразнятся!» – пищит она.

Евгения Викторовна опять отрывается от книги:

– Перестаньте, мальчики! Как вам не стыдно! Сидит девочка спокойно, никому не мешает, так непременно нужно ее раздражить!

Снова спокойствие минут на десять – пятнадцать. Евгения Викторовна снова погружается в чтение. Перешепнувшись между собой, мальчики в один голос злобешим шепотом скандируют:

– На-у-хо-до-но-сор!

– Мама, что они дразнятся: ухо да нос! – опять возмущенно жалуется Наташа, которой это незнакомое слово показалось обиднее всего, что приходилось слышать раньше.

К раздавшемуся вдруг взрыву хохота присоединяется даже Соня, а отец Сергей спрашивает со своего места:

– В чем дело?

Ему объясняют в пять голосов, потом в три голоса начинают объяснять Наташе новое слово. При этом Соня совершает довольно глубокую экспедицию по Вавилону, мальчики больше напирают на этический смысл своей редакции библейского имени (нельзя жаловаться), а Наташа возмущается и доказывает, что не она лезла к ним, а они к ней, – значит, она права, обратившись за помощью. Разговор явно не клеится, с минуты на минуту можно ожидать новой вспышки.

В зале раздается звук отодвинутого стула, и отец Сергей выходит в столовую с листком бумаги в руках. Он серьезен, как бывает всегда, когда читает жене отрывки из своих статей, только в глазах его вспыхивают озорные огоньки.

– Будет вам спорить, слушайте, что я написал!

Отец Сергей подождал, пока все успокоилось, и начал тем шутливо-торжественным тоном, которым иногда изображал гимназисток, читающих стихи на экзамене:

«Жили-были вот эти дети: Соня – учена, Костя с тростью и Миш-шалиш, Натка, завернутая в ватку, пришла к ним в гости и толкнула ногой Костю.

Костя сел, сам ногу съел.

А сестре и брату оставил вату».

Что тут поднялось, такие бурные взрывы восторга едва ли выпадали на долю лучших поэтов. Даже Соня, хотя уже была настолько «учена», что могла заметить недостатки этого произведения, все-таки гордилась и отцом, и тем, что попала в стихи. Мальчики возбужденно кричали что-то, таща отца каждый в свою сторону, а Наташа, взобравшись на стул, уцепила его сзади за шею и пронзительно визжала от восторга прямо ему в ухо. Наконец отец Сергей не выдержал:

– Хватит шуметь, а то вы и меня, и маму оглушили, и Катю разбудите. А, да вот и она явилась! – добавил он, увидев Евгению Викторовну, вошедшую с двухмесячной Катей на руках. За шумом они и не заметили, что Катя подала голос. – Ну, если так, пошли лучше петь. Тащите стул к гуслям!

И отец Сергей, подбросив Наташу так, что она оказалась у него на спине, галопом сделал с ней два круга по комнате и, смеющийся, растрепанный, запыхавшийся, опустился наконец на поданный стул. Дети окружили его, приготовившись наблюдать знакомую церемонию настройки гуслей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.